

Сергей Кочуков

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Повесть

*Фронтovým разведчикам
Великой Отечественной
ПОСВЯЩАЕТСЯ*

ГЛАВА ПЕРВАЯ



Александр Борисович, директор средней общеобразовательной школы в областном центре, был ныне явно не в духе. Всегда сдержанный, подчеркнуто вежливый в обращении с подчиненными, сегодня он в раздражении на повышенных тонах отчитал завхоза, отмахнулся от какого-то значительного предложения своего уже на протяжении десятка лет коллеги-завуча и, наконец, не ответил на приветствие Домны Михайловны — учителя истории. Женщины столь преклонного возраста, что сама она являлась живой историей и этой школы, и их районо, да, пожалуй, и самого города. «Бестужевка», как за глаза называли ее молодые коллеги и ученики, удивленно вскинула тонюсенькие рисованные бровки поверх очков и, укоризненно покачав головой с высокой укладкой волос в стиле маркизы де Помпадур, лишь произнесла вслед невоспитанному директору: «Ах! Нравы, нравы...»



Сергей Константинович Кочуков родился в 1957 г. в селе Лысье Горы Тамбовской области, учился в Москве, по образованию юрист-международник, референт по странам Востока, владеет китайским языком. 25 лет прослужил в органах государственной безопасности, подполковник запаса. Автор многих краеведческих и художественных книг. Член Союза писателей России. Проживает в Тамбове.

Причины для раздражения, разумеется, были: вчера Александра Борисовича настоятельно попросили принять на работу одного престарелого учителя. «По благу», так сказать, по старому знакомству — и, даже не выслушав аргументов об отсутствии вакансий, поблагодарили за понимание и далее обсуждали эту проблему как уже окончательно решенную. Раздражало и то, что звонивший, совсем недавно переведенный в Москву в Министерство просвещения работник, долгие годы проработал в их областном управлении образования и не мог не знать, что Александру Борисовичу попросту претят такого рода «услуги», что о его педогогической, по мнению многих, честности и бескомпромиссности ходят легенды. Конечно, знал — и все-таки обратился со столь деликатной просьбой. Позвони кто-нибудь иной, директор нашел бы возможность с присущей вежливостью и тактом уклониться, но звонил-то сам товарищ Козин, а ему директор был обязан всем: полученным образованием, педагогической и административной карьерой — да что там? Самой жизнью, почитай, обязан. Разве такое забывается? До сих пор мурашки по телу от ощущения, как близок был к черте, за которой неправый и скорый суд, лагеря сталинские, а в конце полное заточение. В начале пятидесятых вчерашний выпускник физико-математического факультета пединститута, новоиспеченный аспирант и будущее светило педагогики, комсомольский вожак факультета Саша Разин посчитал, что после такой великой Победы в войне «тридцать седьмой год» остался далеко позади, канули в лету безвозвратно репрессии. А потому можно говорить свободно и смело, даже если это не совсем совпадает с официальной точкой зрения, можно встать на защиту несправедно обиженного или выступить с критикой тех порядков и установлений, которые, по твоему глубокому убеждению, навсегда изжили себя и лишь мешают на пути строительства светлого будущего.

Тучи начали стремительно сгущаться, и уже через несколько дней ему вдруг вспомнили и отсутствие «классовой бдительности» при приеме в комсомол студента, родитель которого до самой своей смерти так и не вступил в колхоз, остался единоличником, и тетку по линии матери, вышедшую замуж за священника, и еще немало других грехов и грешков. А на то, что студент этот, сын единоличника, еще и бывший фронтовик, потерявший руку в уличных боях в Берлине в мае сорок пятого, никто во внимание не принимал. Как не принимали во внимание, что первый и последний раз он видел тетку в пятилетнем возрасте, да и умерла она еще до войны далеко от их родного города, разделив колымскую судьбу своего мужа — политзаключенного.

И когда Сашка, утратив вдруг свой веселый и кипучий нрав, превратился в затравленного изгоя, от которого отвернулись вчерашние самые близкие друзья, появился он — замуководителя областного управления образования Козин. Невысокий, подвальный, в порядкем вытершемся офицерском мундире и темно-синих галифе. Он с большим шумом исключил Разина из аспирантуры, снял со всех общественных должностей, буквально выгнал из института. Это видели все. Однако никто не видел, как днями позже, при непосредственном участии Козина, тихо и незаметно Сашка выехал в самый отдаленный район области, где и просидел в деревенской школе без малого пять лет. Переждал громы-молнии, преподавая математику угрюмоватым деревенским подросткам-перестаркам, которые курить начинали в пятом классе, пробовать самогон в седьмом, а пахать? Пахать эта сплошь безотцовщина начала в первом классе, точнее

вместо него, еще в раннем возрасте, поскольку этот самый возраст пришелся на годы самой страшной войны.

И именно Козин через пять лет незаметно способствовал тому, что Александр стал учителем, а позднее и директором вновь построенной школы в новом жилом массиве областного центра. Именно Козин скажет однажды: «Ты должен быть лучшим, и школа твоя — лучшей в городе, иначе и быть не должно. Надо только много-много работать и многому учиться».

Александр Борисович, вспомнив своего наставника, почувствовал, что досада уступает место душевному равновесию, улыбка невольно тронула лицо.

Удивительным все-таки человеком был Козин! Удивительным! Не только Александр Разин, но и большинство знавших этого человека людей не переставали удивляться, как много может вмещать в себя одна личность. Оставаясь непревзойденным организатором и администратором, он был еще и крупным ученым, научные труды которого включались в программы педагогических вузов страны. А еще он был прекрасным тонким воспитателем. Александр Борисович только в последние годы понял, что он далеко не единственный, в кого Козин вложил свою душу, опыт, знания, таких десятки, и не только в их области.

Совсем молодым начинал Козин в затерявшемся на российских просторах сельце учителем начальной школы и, несмотря на молодость, завоевал уважение такое, что убежденные сединой старцы при встрече снимали шапки. И было это вовсе не извечное крестьянское поклонение перед порой единственно грамотным в селе человеком, а нечто большее. Потому и вышли провожать его всем селом на третий день разразившейся в июне сорок первого войны. А он все взглядывался в эти ставшими родные бородатые лица крестьян, в опаленные солнцем лица баб, что концами белых платочков вытирали слезы, и не мог найти подходящих случаю слов. Все твердил, что непременно вернется, да перебрасывал с плеча на плечо самодельную котомку с испеченными соседками пышками.

Фронтная его судьба также удивительна и нетипична. Типично было направление подавляющего большинства призванных на войну учителей в военно-политические училища, откуда после ускоренного трехмесячного курса они уходили замполитами рот прямехонько на фронт. Козин и действительно закончил такое училище, но по прибытии на фронт убедил руководство, что на командно-строевой стезе от него будет больше пользы, чем на политической. А убеждать он умел чаще всего собственными делами и поступками. Так и прошел за годы войны путь от командира стрелкового взвода до начальника штаба стрелковой гвардейской краснознаменной дивизии, от лейтенанта до полковника. Нечастый, надо признать, случай, когда школьный «ботаник» становится успешным командиром. О том, как воевал, красноречиво говорят многие ордена, среди которых два полководческих, за разработку и осуществление операций на фронтах, а также два иностранных — польский и чехословацкий. Война отгремела, и вновь Козин совершил поступок нетипичный. Академии Генерального штаба и блестящей военной карьере он предпочел школу, вернулся к своему любимому делу.

Александра Борисовича иногда посещала мысль, что умница Козин и тогда уже знал, что и на педагогическом поприще он дойдет до «генеральских» должностей в министерстве. А может, и не предполагал, просто добросовестно, с полной отдачей привык вершить всякое дело, будь

то войны или мирный учительский труд. А еще, как считал Разин, несомненный талант. Твердо уверен был, что поручи Козину строить заводы или жилые дома, он и там бы через несколько лет стал успешным организатором строительства. Как, впрочем, и в любой другой сфере.

В конце телефонного разговора с такой опять же нетипичной для их отношений просьбой, Козин попросил: «Очень тебя прошу, Саша, отнесись к нему повнимательнее, побережнее, я бы сказал. Понимаешь, воевали мы с ним вместе. Эх, знал бы ты, что это за парень был! Настоящий герой, а главное, человек настоящий. Так что я надеюсь на тебя. Через месяц-полтора постараюсь вырваться, навестить вас...»

При первой встрече «герой», впрочем, впечатления на Разина не произвел. Точнее, произвел, но, по большей части, негативное. Лицо, испещренное глубокими не то морщинами, не то шрамами, поникшие худые плечи, едва заметное нервное подергивание коротко стриженной головой и взгляд тусклых серых глаз — испуганный, затравленный, который он всякий раз отводил вниз и в сторону, как только к нему обращались. Крупный перебитый нос в сеточке красно-синих прожилков явно свидетельствовал о пристрастии к спиртному. Но больше всего поразили Разина руки собеседника. Левая ладонь, тыльная сторона которой была безобразно стянута следами ожога, и правая — изуродованная еще больше, с раздавленными скрюченными пальцами. Впрочем, он постарался их спрятать под стол сразу, как только Александр Борисович обратил на них внимание.

«Надо же, еще и инвалид, да еще и пьющий?» — подумал Разин.

— Ну, а как на счет этого? — и он сделал характерный жест.

— Было... было и это, но сейчас нет, давно уже... с полгода. — И вновь виноватый взгляд куда-то в сторону.

— А из Москвы отчего уехали? Что вдруг в наши палестины потянуло?

— Да так... сложилось... выбирать особо не приходится.

— С жильем вопрос решили?

— Да. Комнату снял в частном секторе. Светло... окна в сад.

— Хорошо, Павел Николаевич, обустраивайтесь. Касаемо работы, пока могу только полставки историка предложить, до конца учебного года вряд ли будут какие изменения. Ну, а там посмотрим.

— Спасибо, когда можно выходить?

— Чего же тянуть, с понедельника и выходите.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Десятый «Б» в этой школе был классом необычным, если не сказать уникальным. Как могло собраться в одном месте столь непохожих друг на друга учеников, наверное, никто не ответит. Вундеркинды-отличники и закоренелые двоечники, «ботаники» с вечно испуганными глазами из-под очков с толстыми линзами и отпетые хулиганы. Всякие были, но не было равнодушных, не было пассивных созерцателей окружающего мира. Каждый имел право на собственное мнение, на сугубо личную индивидуальность. Оставалось удивляться, как они уживались вместе? Да что там уживались? Они жили настолько дружно и сплоченно, что не заметить этого было просто невозможно. Проголеть всем классом? Да ничего проще! Объявить бойкот учителю физкультуры за неосторожное высказывание в адрес одной из одноклассниц? Да запросто! Ну и что, что она

полновата, медлительна, нерасторопна малость? Что с того? Это же Лидка, или, чаще всего, — Лидок! Своя же! В доску своя девчонка! А сделать так, что общая оценка за контрольную по математике в классе, включая «двоечников», будет не ниже «четверки», — это могли только они. Могли только им известным способом, даже если математичка пригласит присутствовать на контрольной самого завуча. Могли дружно уклониться от навязанных хозработ, а через пару недель без подсказки сверху организовать субботник по очистке заброшенного пустыря за школой. Кстати, того самого пустыря, куда они неделей раньше вызвали для «мужского» разговора всю сильную половину параллельного класса. И не забоялись, что соотношение сил один к двум — не в их пользу. Речь шла об обиде, нанесенной их одноклассникам братьям-близнецам Плешаковым, представителям как раз того известного племени очкариков-ботаников. Но это были СВОИ очкарики, а давать в обиду СВОИХ было не в правилах 10 «Б». Тем более Плешаковы были признанными авторитетами в биологии и, ходили слухи, уже полгода вели научный спор на страницах журнала с одним столычным профессором о наличии (а может, об отсутствии) в их регионе редкого вида чешуйчатокрылых. И, по тем же слухам, профессор был близок к тому, чтобы признать свое поражение. Так-то вот! А еще в общении между собой Плешаковы употребляли словечки совсем уж ученые, типа лепидоптерология, значение которого «двоечники» даже выяснить не пытались. Зачем? Достаточно, что близнецы знают.

Порог именно этого класса переступил Костров сегодня утром. Встретили его напряженная тишина и три десятка пар глаз, глядевших в упор. В глазах одновременное любопытство и вопрос: «Чего ты стоишь?» И вызов: «Только попробуй посягнуть на наши устои и порядки!»

— Костров Павел Николаевич. Ваш учитель истории, — представился он. А в глазах ребят на смену любопытству приходило разочарование. Произвести приятное впечатление и не надеялся. Вряд ли это возможно с его далеко не профессорской внешностью, шаркающей походкой и потухшими глазами. Попытался спрятать изуродованную ладонь под крышкой стола, но вышло слишком поспешно и неловко. Кто-то хмыкнул, кто-то подавил смешок.

— А куда «бестужевку» дели? Неужто на пенсион отправили?

— Быть того не может! Она же вечная!

— Ничто не вечно! И, как говорят классики, старикам везде у нас почет, а молодым везде у нас дорога!

— Ха, эт точно! Молодежь поперла!

— Пенсия на пенсию, заживем мы весело!

Реплики неслись со всех сторон, подхваченные одобрительным смехом. Павел Николаевич в общем гаме сразу выделил лидеров. Парень невысокий, крепкий, с не по возрасту глубокими залысинами и маленькими, от множества переломов превратившимися в нелепые оладушки, ушами. «Борец греко-римской или вольник», — определил для себя Костров. «Борец» в общем шуме не участвовал, но когда негромко произнес несколько коротких фраз, все умолкли. Вторым лидером была девушка с короткой стрижкой и непокорной челкой, задиристым вздернутым носиком и серыми глазищами, полными ежесекундно меняющихся эмоций. Что-то в ней показалось до боли знакомым; может, в наклоне головы, может, в вызывающем взгляде; челка эта, опять же. Костров-художник отмечал каждую черточку внешнего облика девушки и наконец успокоился: «Да нет, ни на кого она не похожа, просто один из типичных и до-

только распространённых образов современной девушки. Совместимость несовместимого. “Отличница по способностям — оторва по наклонностям”».

Костров-учитель в то же время думал о том, что класс практически неуправляемый, авторитетов не признающий, что вряд ли в этот раз удастся стать для них интересным, им нужным. Стало от того неуютно и зябко, невольно плечами передернул. «Зря все это Козин придумал с возвращением к активной, так сказать, жизни. Сидел бы сейчас в своей коммунальной комнатухе, ждал бы, когда принесут пенсию. Потягивал бы разбавленную кипятком водочку (холодную из-за застуженных на войне легких пить не мог), притупляя спиртным болячки телесные, а большей частью — душевные».

Возвратившись из школы, он прилег на застланную серым суконным одеялом кровать и стал рассматривать потолок. Он лежал, а за окном, неожиданно большим и чистым, плескалась весна. Весна с ночными заморозками, с раскатистой капелью днем и солнцем — рыжим, необъятно большим, бесцеремонно вторгающимся в потемневшие снега, в уставшую от морозов и зимних непогод природу. «Надо же, и тогда, мартом сорок третьего я почти как сегодня пришел в новый свой класс, с кем предстояло жить, общаться, работать. Нет, тогда было другое — жить, воевать, выживать. Но такие же, возможно, такие же тридцать пар глаз пристально и изучающе смотрели в упор. С тем же вопросом: “Чего ты стоишь? Только попробуй посягнуть на то, что здесь устоялось, к чему здесь привыкли”».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Тогда в марте сорок третьего взвод разведки 246-го полка 42-й дивизии встретил младшего лейтенанта Кострова настороженно, если не сказать — неприязненно. Измученные неудачными поисками, неизбежными людскими потерями, постоянным недосыпанием и скудным пайком, они не настроены были на лучшие встречи. Глядели просто в упор, когда он попытался построить их, измученных, удрученных и озлобленных.

Что мог сказать им он, вчерашний студент Московского художественного института им. В.И. Сурикова, молодой, подающий надежды художник, сбежавший на фронт. Нет, он, конечно, не такой зеленый, как могло показаться сразу. Он целых три месяца учился в военном училище, где их, голодных после изнурительных марш-бросков, бесконечной шагистики и упражнений по втыканию штыка в соломенно-мешковое чучело, вводили в напрочь промерзшие казармы. Он даже успел принять подо Ржевом взвод, он даже успел поднять его в атаку и пробежать сотни две метров. Одно немецкого пулемета, расположенного на высоте, хватило, чтобы их рота захлебнулась кровью. Он был одним из немногих счастливицков, которых только ранило, а не срезало наповал, не бросило коленеть на подступах к этой по-русски красивой и такой безжалостной нынче возвышенности.

Его и по прибытии после госпиталя в новую часть сразу отобрали во взвод разведки, как офицера с фронтовым опытом. А опыт? Черт возьми! Какой там опыт?

Старшина Захар Прокуда из алтайских потомственных хлеборобов, неимоверно широкогрудый, плечистый, с лопатистыми могучими руками, доложил недовольно о построении взвода и отвел глаза. На замеча-

ние Кострова о расхлябанном внешнем виде стоявший на правом фланге боец в изодранной на локтях гимнастерке и заляпанных грязью штанах от маскхалата, зло и не скрываясь, плюнул сквозь зубы и прошипел:

— Ну, вот еще одного покрикунчика прислали. Мать-перемать! Да где ж их делают таких. — И, не спрашивая разрешения, сгорбившись, двинулся к входу в землянку.

— Старшина, Захар, ну что? Все, что ли? Давай распускай, — послышалось с разных сторон, и, не дожидаясь ответа, все так же угрюмо потянулись к землянке.

Младший лейтенант остался один, непонимающе хлопал глазами и от стыда и обиды готов был сквозь землю провалиться. Вся училищная наука о необходимости с первых часов по прибытию в часть поставить себя на должный уровень, добиться беспрекословного подчинения и железной дисциплины, не найдя необходимой почвы, попросту рассыпалась в прах. И он, младший лейтенант Павел Костров, ничего не может с этим поделаться!

Подошел старшина Прокуда, отведя глаза в сторону, заговорил неспешно:

— Ты на Герасименко не сердись, он шалопут, конечно, но боец стоящий. И на других не сердись. Ты, младший лейтенант, лучше не трогай щас никого. Ребята две недели из-под немецкой колючки не вылезают. Четверых потеряли и двое раненых тяжело. Не знаем, выживут ли ребятки? Предшественник твой всего неделю назад пришел и в первом же поиске на mine подорвался. Мы его и запомнить-то не успели. А до него лейтенант был, тот целых три месяца лихо воевал. Да-а, и в поиске всегда удачливый. Ничего был мужик, только пил шибко. На задании — как струна натянута, а вернемся — напьется вдрызг, тряпка тряпкой становится. Ни начальству доложить толком не может, и во взводе бардак полный. Его при возвращении уж перед самыми нашими окопами посекло.

Старшина оторвал две газетные бумажки, одну сунул Кострову, табачку отсыпал. Закурили, укрывшись от ветра за штабелем дров.

— Ты и вправду не трогай пока никого, пусть хоть отоспятся ребята малость. Вот будет у тебя на руках приказ на организацию поиска, тогда и поговори с ними, ну, с нами, то есть. Народец оно, конечно, шибко разный здесь, половина, считай, из штрафников бывших, однако ничего, понятливый.

За окном уж сумерки спускались, солнце за дома новостроек опустилось, капель приутихла, а старый учитель все лежал на своей лежанке, не шевелясь, лишь иногда передвигая быстро затекавшую и ноющую тупой болью изуродованную правую руку. Текли, перекатываясь, словно по камешкам неспешная вода, воспоминания. И лица боевых его друзей вставали одно за другим, одно за другим. Хохол Герасименко, вечно хмурый и злой, из бывших раскулаченных. Злой на Советскую власть в лице односельчан-коммунистов, порушивших справное хозяйство его отца, а его с восемью братьями и сестрами и больной матерью отправивших в лютую стужу зауральских лесов. Злой на немцев, которые, как стало известно из письма дальней родственницы, спалили их село дотла вместе с большинством его жителей. Злой на теперешнее свое командование в лице тыловиков, не обеспечивающих разведчиков положенным довольствием. Злой на собственную судьбу, которая к двадцати пяти годам его так и не сделала ни одного просвета сколь-нибудь счастливого. Муки одни. Вечно

зелое лицо Герасименко лишь ненадолго разгладилось, когда увидел, что в первый же вечер зеленый младший лейтенант, которого он обматерил утром, тихонько приказал старшине отныне и на будущие времена паек свой офицерский — в общий взводный котел. Разгладилось его лицо, и проявилось на нем нечто вроде удивления и оттенка уважения.

Полная противоположность ему — Володя Рыжий. Рыжий — это не фамилия, это приклеившееся к нему прозвище. Оно и не могло быть другим. Виной тому — выбивающиеся из-под любого головного убора яркие-рыжие Володькины космы и словно приклеенная к тугим щекам золотисто-рыжая недельная щетина. Даже длинные прямые ресницы были рыжими, а, видно, от ресниц — и глаза того же рыжего оттенка; к такому разве что другое приклеится? Добряк с берегов Волги, по его собственному замечанию, из потомственных бурлаков, обладатель неимоверной силы и выносливости. Уже потом Костров будет не раз становиться свидетелем, как Володька Рыжий при возвращении из поиска будет тащить на себе полузадушенного немца-языка, раненого товарища, все оружие да еще пару противогазных сумок с трофеями, добытыми в немецком блиндаже.

Уже через несколько дней пребывания во взводе младшего лейтенанта Володька Рыжий возьмет над ним негласную опеку. Оборвет вдруг зарвавшегося бойца, который попытается грубо ответить командиру взвода: «Ну, там, полегче, полегче!» — и начнет протискивать к нарушителю свое могучее тело. А то подойдет к Кострову и промямлит вдруг: «Там эта, ребята постирушки затеяли, давай маскхалат свой...»

Володька Рыжий (Костров в который раз безуспешно попытается вспомнить его настоящую фамилию) станет первым, карандашный портрет которого на обратной стороне картона сделает недоучившийся студент Строгановки Павел Костров. «Это тебе за хорошую работу в разведпоиске». Обступившие разведчики передавали картонку из рук в руки, а на ней — усталое и улыбающееся лицо Володьки со взмокшими прядями волос и щетиной на тугих щеках.

Старшина рассматривал долго: «А ты, Пал Николаич, талант. Это ж надо, картина черная, а Володька на ней все одно рыжий!» Заготовали все, а виновник смеха не меньше других. Посерьезнел затем и стал бережно завертывать картонку в новые неodeванные портянки и засовывать в свой сидор.

Вспомнился Петр Молчун. Был такой в их взводе. Натура во всех отношениях интересная и неоднозначная. Как и Герасименко, был из штрафников, но в жизни не имел ни кола ни двора. Из волны беспризорников, захлестнувшей страну после Гражданской войны, и страшного голода, охватившего Поволжье и другие регионы. Петр не знал ни родителей, ни какого он роду-племени, ни в каком месте угораздило его родиться. До того как попасть на фронт, большую часть жизни провел в лагерях. Воруя неусветный на воле и уркаган уважаемый в зоне, на передовой был он хитер, изворотлив, живуч. А еще расчетлив и безжалостен в сшибке в немецком окопе. Черты, в общем-то, значимые в опасной военной специальности разведчика. За время после штрафбата и медсанбата появились на его груди три медали — и все «За отвагу». Фамилию Молчун (а может, и не фамилия это, а закрепившееся прозвище) оправдывал вполне, особо близко ни с кем не общался, жил по каким-то понятиям близкого ему блатного мира. «Уважуху», к примеру, проявлял к старшине за то, что тот не жлобствует при дележке харча и чуть ли не чаще других уходит на немецкую сторону с группой захвата. Одновременно ни

во что не ставил начальника разведотдела полка, который маскировал видела только на плечах своих подчиненных и, по убеждению Петра, на этих самых плечах ребят из их взвода дослужился аж до майора.

Был у него грех, причем грех постоянный и ничем не выводимый. Любил Петруха подворовывать. Причем делал это с присущим мастерством и изяществом. Тыловики, люто им ненавидимых, обворовывал постоянно и ни разу не возвращался он из похода к складам и кухням без добычи: то принесет во взвод упаковку тушенки, а то и изрядный кус ложичного масла, то других продуктов. На укоровизненные замечания старшины цедил сквозь зубы: «Не бухти, старый, никто не узнает, а крысы складские не заявят ни в жизнь, поскоку сами те харчи из солдатского котла и офицерских пайков умыкнули».

В немецкой траншее или блиндаже при захвате «языка» группа наших разведчиков находилась считанные минуты, и старшину Прокуду брала оторопь, когда по возвращении Молчун выкладывал «на общак» золотые кольца, инкрустированные портсигары, часы, зажигалки и прочее из немецких карманов. Ко всему добытому «рыжью» Молчун питал полнейшее презрение и лишь советовал старшине не продешевить при обмене немецкого барахла на сало и спирт у тыловики.

Был случай, пожалуй, единственный, когда расторопность и тонкий расчет подвели Молчуна. Группа, захватив немца в пулеметном гнезде, бесшумно уползала на нейтралку, а Петр, не найдя ничего стоящего в карманах им же пришитого второго номера, уползал последним. Надо же такому случиться, не попал в проход под заграждением, заторопился малость и чуть не вскрикнул от проткнувшей циколотку колючки. Попытался освободиться, но скруток проволоки, неизвестным образом превратившийся в смертельную петлю, лишь ту же стянул ногу. Попытался потянуть, но результатом был лишь негромкий пока еще перезвон развешенных на проволоке пустых банок. И тогда Петруха не на шутку запаниковал. Ощупав ногу, понял, что без ножниц тут не обойтись, да где их взять — они у группы прикрытия. Попробовал ножом, где там? Колючка у немчуры из сталистой проволоки. Попытки вытащить ногу из сапога только усугубляли дело — стальная петля мертвой хваткой все сильнее сдавливала ногу. Теплилась надежда, что кто-то из ребят вернется, но и она таяла с каждой минутой — не за горами рассвет, ничего хорошего не предвещавший. «Ну и хрен с ней! По-другому умереть мечталось, да не попишешь ничего!» Петр положил перед собой гранаты, пододвинул автомат и стал ждать рассвета, а с ним и свой конец. «Нет, они, суки, не подойдут, издалека в стрельбе по живой мишени поупражняются».

Младший лейтенант Костров оглядел в стрелковой ячейке сползших в нее разведчиков, тронул немца, живой ли. И только тут заметил отсутствие Молчуна. Толком ответить про него никто не мог, кроме, что тот уходил последним. На случай, если Молчун остался за проволокой, Костров прихватил с собой ножницы. «Не надо, один схожу», — сказал поднявшимся было разведчикам.

Пока полз, многое передумалось. Это был чуть ли не первый его выход за «языком», и он безоговорочно принял всю вину за потерю бойца на себя. Закон разведчиков — не оставлять ни раненых, ни мертвых на чужой стороне, о чем он неоднократно слышал, был нарушен, и нарушен по его вине. Обрадовался, мальчишка, что удачно взяли фрица, что бесшумно к своим ушли, про все забыл. Мелькнула мысль, а не специально ли Молчун на той стороне остался. С него, урки уголовного, станется. «Да

нет, быть такого не может. Он на ту сторону уж десяток раз ходил, была возможность перебраться к немцам». Они успели до рассвета, Молчун молчал даже тогда, когда Костров резал ножницами проволоку, захватив ее вместе с голенищем и Петрухиной кожей. Молчал, и когда на полпути к своим встретил их Володя Рыжий с двумя разведчиками: послушались приказа — ползли на подмогу. Только уж в своей землянке подошел, произнес негромко: «Спасибо, лейтенант, я не забуду», — и отошел к своим нарам.

А через несколько дней, оружие как раз чистили, разразился бесконечно длинной для него речью: «Слухай сюда, братаны, кто на летеху пасть раззявит — порешу». Все поняли, о каком лейтенанте речь, хмыкнули и промолчали.

Про старшину Прокуду Костров всегда вспоминал с особым теплом и уважением. На помощь Захара Петровича всегда можно было рассчитывать, Неизвестно еще, как бы собственная судьба военная сложилась, не будь этого человека рядом. Тот учил ненавязчиво, не выпячивая свой собственный боевой опыт. Вся учеба из рассказов о прошлых делах взвода, только в рассказах тех самая соль; как не растеряться в неожиданный момент, как задание выполнить и при этом еще и выжить. В разведке долго не живут, по острию ножа ходят, а он вот в ней уж почти два года. Раза четыре и его осколки, пули доставали, но отделялся всегда легко. А ведь вначале в поиск его с неохотой брали. Не дай Бог, ранят, волоки потом его, кабана эдакого. В нем же пудов семь, не меньше никак. «Тебя ж, Захар Петрович, чтоб с нейтралки вытащить, лошадью не обойдешься, самоходку нанимать надо или тягач гаубичный». Попривыкли потом.

Старшина тоже поначалу показался Кострову слишком медлительным, почти сонным. Оживлялся только, когда отчитывал кого-нибудь из бойцов за нерадивость, при этом витиевато матерясь, да когда готовился к броску через нейтральную полосу. Было в старшине нечто медвежье, и это сходство Костров наблюдал однажды.

Оставшись на сутки в немецком тылу, попытались устроить засаду на лесной дороге. Улыбнулась удача. Захваченного немецкого обер-лейтенанта уволок в чащу. И тут немец неожиданно выхватил из-за пазухи пистолет и направил его на Кострова. Видно, недосмотрели в спешке, не обыскали тщательнее. Все вместилось в доли секунды. Павел помнит только наведенную на него смерть, даже испугаться не успел, и молниеносный удар старшины. Удар был действительно медвежий, страшной силы, без замаха, лапой, куда-то немцу в ухо. Сжать кулак да замахнуться времени не оставалось. Немец упал замертво, из ушей и носа потянулись струйки алой крови.

Нагнувшийся над немцем Герасименко констатировал: «Готов! Захар, мать-перемать, порода медвежья! Али полегче нельзя было? Где теперь еще такого найдешь?»

«Ну и реакция!» — только и подумал Костров, глядя на виновато переминающегося с ноги на ногу старшину.

Как-то в дни нечастого отдыха Захар Петрович скромненько намекнул, что неплохо бы и его портрет оставить потомкам. Старшина к разговору, видимо, готовился немалое время, потому протянул Кострову стопку хорошей писчей бумаги и целый набор карандашей, где среди простых было и несколько красных и синих. Лейтенант обрадовался такому богатству, как ребенок новой игрушке, и не скрывал этого. Не смущало даже то, что бумага была немецкой гербовой, и на лицевой стороне сверху орел

их крылья распластал, а по центру свастика ненавистная. Зато с обратной стороны она была бело-пребелой, чистой-пречистой, гладкой-прегладкой. Это вам не картонка из-под упаковки запалов гранат, об выпирающие на ее поверхности опилки можно было карандаш сломать.

— Ну что ж. Фактура колоритная, временем располагаем. Пойдем, вон там за овинком потише, кажется.

— Это я сейчас, мигом я... — И бегом припустился к землянке.

Костров примерился к свету, прикинул, куда попадать будут лучи заходящего солнца, расставил пенки для natypы и себя. Услышал приближающийся гам и увидел старшину в сопровождении чуть ли ни всего личного состава. Лейтенант сам не смог сдержать смеха. Захар Петрович был в новых начищенных до блеска сапогах, новой гимнастерке, обвешанный оружием, словно елка новогодняя. Было, кажется, все: автомат, немецкий парабеллум без кобуры, сигнальный пистолет для ракетниц, этот как раз в кобуре, в неуклюжей, брезентовой, сразу несколько ножей и финок, наших и трофейных, с пяток гранат, бинокль и т.д. и т.п. Сопровождаемый хохотом и подначками бойцов, он уселся на предложенный пень, развернул и без того широкие плечи, выпятил могучую грудь, выпучил для выразительности глаза и замер. Впрочем, замер не весь, точнее, не замерла лишь одна свободная левая рука, которая все передвигала многочисленные ремни и ремешки навешанного оружия, стараясь сделать видимыми на портрете орден и две медали на груди у старшины.

Даваясь смехом, отчего рука карандаш не могла удержать, Костров понял, что натура не получится, и для начала строго приказал уматывать всем присутствующим и не приближаться ближе, чем на 20 метров, до окончания работы. Потом долго убеждал Захара Петровича снять ненужную амуницию, но, видно, безрезультатно. Махнул безнадежно рукой, уселся на свой пенек и принялся за работу, на натурщика даже изредка глаз не поднимал, словно забыл о нем.

Вечером в землянке всем взводом рассматривали портрет. Разглядывали молча, иногда бросая на лейтенанта взгляды, полные нескрываемого уважения и удивления. А на портрете сидел в нательной рубаше Захар Прокуда, с натруженными руками на коленях, с недокуренной сигаркой меж заскорузлых пальцев и взглядом усталых глаз в землю перед собой. Еще луч закатного солнца остановился на левой стороне лица, освещая добрые морщинки у глаз. Это был портрет вечного труженика земли, исконного русского крестьянина, присевшего отдохнуть после бесконечно длинного дня, в самую что ни на есть страдную пору. И в этих руках, в этих придавленных трудом плечах, в уголках глаз виделась не только усталость и печаль, но и тихая радость и удовлетворение от добротной сделанной работы.

Это был алтайский хлебороб Захар Прокуда и, несомненно, это был русский солдат, о чем ненавязчиво, не вылезая на передний план говорили и солдатские широкие порты на нем, и аккуратно сложенная рядом гимнастерка со старшинским погоном и краешком спрятавшихся за складкой боевых наград. И ничего больше. Просто солдат, присевший передохнуть после еще одного пережитого тяжелого дня военной страды.

Этот портретный рисунок хлебороба-солдата заставил всех примолкнуть, задуматься о чем-то, будто заглянуть в день вчерашний, в день завтрашний и в свою собственную душу. Кострову рисунок тоже понравился. Как всякий художник, он не был лишен известной доли честолюбия

и без излишней скромности подумал, что ему удалось на этот раз подметить что-то очень важное в типаже и удачно перенести это на лист.

Кстати, именно после этой его работы во взводе появился небольшой фибровый трофейный чемоданчик, где отныне стали храниться его рисунки, зарисовки, наброски — по существу, живописная летопись их подразделения. А лейтенант помимо уважения к себе со стороны бойцов почувствовал неприкрытое их желание сохранить, уберечь его, если вообще это возможно на такой безжалостной войне.

Разными, несхожими по характерам, по индивидуальным своим способностям были в его взводе ребята. Вон казаха Бекмамедова вспомни. Лучшего наблюдателя не сыскать по всей дивизии. Мог часами сидеть, не шелохнувшись, замаскировавшись в листве дерева или в снежном сугробе. При этом никогда не мерз в любую стужу, не страдал от жажды в самый солнцепек, не обращал внимания на полчища комаров-кровососов. Застынет, словно мумия, и только черные узкие глаза цепко отслеживают малейшее шевеление на немецкой передовой.

А каким стрелком был Бек?! (Так для краткости звали его во взводе.) Снайпер от Бога. В стрелковых ротах об этих его способностях знали, не раз пытались переманить, но тщетно. Прикипел ко взводу, настоящим разведчиком стал. А трофейную снайперскую винтовку во взводе прятали и берегли пуще глаза. После того случая с обер-лейтенантом немецким фашисты все-таки засекали их, организовали погоню, собак по следу пустили. К передовой не сунуться, уходили лесами вдоль линии фронта. Когда совсем туго стало, Бек посоветовал уходить лесной речушкой и показал рукой на песчаный взгорок, где выбрал себе позицию. На слова Кострова о том, что бросать на верную смерть кого-то одного у них не принято, казах спокойно и обыденно заметил, что иногда заповеди даже Пророка Мухаммеда можно чуть-чуть нарушать. Что, мол, по-другому все равно не получится. Уходите быстрее!

Костров уводил группу по реке, иногда выходя то на один, то на другой берег, наматывая хитроумные крючки и петли. Но еще около часа в гулкой лесной тишине слышали они одиночный винтовочный выстрел, предсмертный визг собаки и всплеск автоматных очередей. Так было не один раз. Потом звуки становились все глуше, наконец, смолкли вовсе; лишь они удалились от места схватки, либо Беку удалось увести преследователей в другую сторону, либо...

Бек вернулся во взвод через девять дней, когда все надежды уже были похоронены. Страшно исхудавший и оборванный, он перешел линию фронта на участке даже не только другого полка, но и другой дивизии. Первым его вопросом было, все ли разведчики вернулись живыми. А на вопрос, каким чудом сам живым выбрался, ответил как всегда просто и обыденно: «Когда патрон кончился, я винтовку в мох спрятал, а сам в пень превратился. Немец рядом ходил, совсем рядом ходил, Бека не видел. А собачки, какие собачки, я их в первую очередь пострелял».

Лейтенант радовался и почти не удивлялся, зная способности своего бойца стать на время неодушевленным, невидимым, несуществующим. Старшина на радостях пообещал — кровь из носу! — добыть снайперскую винтовку.

— Чтоб лучше с оружейниками сговориться, вот портсигар. Офицера того, Захаркиной лапой убиенного, — пододвинулся к столу Петр Молчун. Все удивленно переглянулись: когда и каким образом перекаче-

вал портсигар из кармана обер-лейтенанта в Петрухин, оставалось загадкой.

Портсигар ли помог серебряный или пробивная силища старшины Прокуды — неизвестно, только на третий день Бек с любовью и нежностью протирал ветошью заветное оружие. Особенно радовался добротному фабричному чехольчику для оптического прицела — не то что драный, самодельный на старой винтовке. Как, оказывается, мало надо человеку на войне, чтобы ощутить хотя бы мимолетную радость.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Весна пролетела незаметно, а две враждующие армии, зарывшись в землю, понастроив блиндажей и дзотов, ощетинившись множеством орудий различного калибра, напряглись в ожидании решающих сражений. Пехота несла дежурства на передовой, подразделения отводились в ближайшие тылы для плановой и тщательно продуманной практической учебы, артиллеристы и с той, и с другой стороны отработывали положенные им на сутки снаряды. Тылы показывали просто чудеса искусства обеспечения войск. Появилось огромное число хлебопекарен, швейных, сапожных, шорных мастерских, ремонтных баз техники и оружия, вечно парящих банно-прачечных и санэпидемических подразделений — и прочее.

И только разведчикам не было покоя ни днем, ни тем более ночью. Велось круглосуточное наблюдение за передним краем противника, проводился тщательнейший анализ полученных данных. Приехавший из дивизии с проверкой майор Козин, тогда еще начальник оперативного отдела штаба, одобрительно отозвался о результатах.

— Ну, что ж, весьма неплохо, вижу, у вас даже пара лопат свежей земли на немецком бруствере незамеченными не остаются.

— Товарищ майор, — в разговоре наедине обратился Костров, — наблюдение, конечно, многое дает, но далеко не все. «Языки», дело понятное, можно сказать, — венец нашей работы. Есть и другие возможности. В последнем поиске группа углубилась километров на пять от передовой, а там — части немецкие на каждом шагу, а еще больше — проводов связи, которые их соединяют. Ну, порезали мы несколько проводов, повредили, но ведь в многомесячном стоянии это дробинка слону. А ведь была возможность — да и время позволяло — часика этак три послушать их общение.

— Так за чем же дело стало? — проявил неподдельный интерес Козин.

— То-то и оно, что мои познания в немецком двумя десятками слов ограничены, у бойцов моих того меньше.

— Проблема ясна, но ты же знаешь, Павел Николаевич (когда только имя успел узнать), что в полковом разведывающем переводчик по штату не положен. А что, есть конкретные планы? — И вновь неприкрытая заинтересованность.

— Конкретных нет, а вот место, где все это провернуть можно, приглядели. Будет у меня боец, по-немецки шпрехающий, можно и спланировать, и организовать.

— Я над твоим предложением подумаю, Павел Николаевич, с начальством твоим в разведотделе дивизии посоветуюсь. Может, что-то и придумаем.

Проводив майора, Костров услышал нарастающий гул самолетов высоко в небе и размышлял: «Неправ ты, Павел, не одни разведчики в этом долгом противостоянии воевать продолжают. Взгляни, это только за сегодня третий воздушный бой, а сколько их на твоих глазах было за последние дни. И все для того, чтобы одолеть ненавистного врага». Костров, к стыду своему, всегда боялся высоты и с дрожью представил себе, каково это драться в небесах насмерть, без твердой земляной опоры под ногами.

Козин разговор с лейтенантом не забыл, и через пять дней в землянке разведчиков появился Ефим Шнайдер, переводчик из штаба дивизии. Доложил, что временно прикомандирован к подразделению полковой разведки, однако на какой срок — ответить затруднился: «Начальство сказало, до минования надобности».

Разведчики с интересом рассматривали прибывшего. Был он, несмотря на молодость, лыс; полные губы, щеки с двухдневной щетиной и небольшие, с прищуром, пытливые глаза дополняли его портрет.

— А может, ты не Ефим, а Йохим, мы этих самых Шнайдеров уж не одного с той стороны приволокли.

— Нет, именно Ефим Яковлевич Шнайдер. А фамилия в переводе с иврита означает «портной». Видно, кто-то из предков занимался сим ремеслом. Еще есть вопросы, товарищ гвардии рядовой, относительно национальности, происхождения, биографии? Нет? Ну и прекрасно.

Переводчик скинул совершенно новый, нескладно сидевший на нем ватник, под которым оказалась выцветшая и местами аккуратно штопанная гимнастерка с погонами старшего сержанта и двумя нашивками за тяжелое и легкое ранение.

«И на том спасибо, что не из новобранцев необстрелянных», — отметил для себя Костров.

— Братцы, к ужину, как догадываюсь, я не поспел, пожевать ничего не сыщется? Оголодал я что-то, с утра к вам из дивизии добираюсь.

Потом, обратив внимание на взгляды бойцов, с интересом наблюдавших, как он споро управляется с увесистым ломтем хлеба с салом, заметил: «Ну, да, конечно. Пицца далека от кошерной, но я, к вашему сведению, атеист уже в третьем поколении, да и до ближайшего раввина сотни километров, захотите донести — не получится. Так что извиняйте».

Старшина почти с любовью смотрел на прикомандированного. По его устоявшемуся крестьянскому убеждению, кто как ест — тот так и работает. Фима ел много, с аппетитом, но без жадности.

Когда после ужина лейтенант все-таки вернулся к вопросу немецкого языка, точнее, к уровню владения им, Фима (как с первой минуты негласно стали называть его во взводе) поразил всех еще более. Зайдя за отгороженную плащ-палаткой лежанку лейтенанта, он заговорил по-немецки. Разведчики опешили просто. Они из диалога двух немцев, а Фима артистически изобразил именно диалог двух немцев, не поняли буквально ничего, но услышали настолько правдоподобный разговор двух немецких солдат, что невольно вздрогнули и напряглись. Затем «один из немцев» запел какую-то песенку, всем показалось, что и ее они уже не раз слышали во время рейдов по немецким тылам. Пел переводчик безупречно правильно, несильным, чистым голосом. Когда закончился его импровизированный спектакль, он картинно показался из-за плащ-палатки и артистично поклонился. Бойцам ничего не оставалось, как разразиться громом аплодисментов.

— Ну ты, Фима, голова!

— У меня аж мурашки по коже и рука сама на поясе финку начала искать, — с удивлением и восторгом делился впечатлением Володька Рыжий. Ему вторил Герасименко: — И у меня напряглось все, как перед прыжком в траншею к фрицам.

— Ты где так насобачился? Артист! Ну чисто артист!

— А я, ребята, и вправду артист, не доучившийся, правда, с третьего курса консерватории. Изучал вокал и сценическое искусство.

— Не знаю, что такое бокал-вокал, ты лучше, Фима, скажи, а ты и на русском спеть сможешь?

— Ничего проще, а еще и на итальянском вам спою, и на скрипке сыграю. Спою, отчего не спеть друзьям. Только не сегодня. Я, к вашему сведению, не только пожрать, я еще и поспать люблю. Так что позвольте откланяться. Товарищ старшина, укажите, где приготовлены перина и верблюжье одеяло? Что, нет? Только соломенный тюфяк и шинелька сверху. А что, тоже вполне сносно.

«Нашего полку прибыло. Еще один недоучившийся студент. Надо же, музыкант, художник... Да-а... война...» — задумался и немного грустил Костров.

Как и предполагал Костров, первые же подключения к немецким линиям проводной связи начали давать неплохие результаты. В частности, удалось детализировать сведения о всех наличных силах и огневых средствах противостоящего противника, о прибытии из Югославии усиленного танкового полка. Наиболее же значительным успехом разведчиков было получение сведений о строящейся немцами рокадной дороги протяженностью свыше ста километров для своевременной переброски бронетанковой техники на главные участки советского наступления.

Всего удалось осуществить три таких подключения, в последний раз пришлось уносить ноги и утаскивать двоих раненых, благо не тяжело, разведчиков. На всех участников трех разведпоисков с подключением Костров подготовил представления о награждении медалями. Штаб дивизии наградил всех орденами (случай невиданный, чаще наоборот бывало). Видно, вышестоящее руководство оценило добытые сведения по достоинству, в отличие от разведчиков, посчитавших свои действия повседневной рутинной работой. Но в результате массированным налетом был полностью разгромлен на станции выгрузки прибывший из Югославии танковый полк. Рокадную дорогу позволили достроить, но во время наступления в пух и прах разбили с воздуха двухкилометровую гать через болото. Движение остановились, а выведенная из лесов на дорогу бронетехника стала отличной мишенью для нашей бомбардировочной и штурмовой авиации.

О взводе лейтенанта Кострова (теперь уже без приставки «младший») как об очень результативном подразделении заговорили не только в штабе дивизии, но и в командовании ударной армии. Соседи считали их просто «везунчиками» и намекали на какие-то родственные связи в вышеуказанных штабах, что, однако, не мешало тут же обращаться с просьбами поделить добытыми сведениями. Ну, если считать отеческую заботу майора Козина из оперативного отдела штаба дивизии за родственную связь, то она действительно имела место. Все остальное Костров относил к числу заслуг своих разведчиков, их бесконечному терпению и выдержке, невероятной выносливости и хладнокровию, бес-

траншеи и мужеству. Те, в свою очередь, за все почитали своего командира, его способность к анализу и умение за деталями разглядеть самую суть.

А еще они верили в удачливость и счастливую звезду лейтенанта. Разведчики вообще народ суеверный, бойцы взвода Кострова не были исключением. Каждый из них, включая лейтенанта, знал, что рано или поздно эта игра со смертью кончится для них гибелью или тяжелым ранением, знали, но гнали прочь от себя мрачные мысли. Старшина как-то заметил: «О ней, о старухе с косой, только задумайся — преобязательно припрется. Как только начнешь думать о том, чтобы выжить любой ценой, — все! Считай, кончился разведчик, просись в обоз, там шансов в живых остаться побольше».

Память у их лейтенанта действительно была поразительной. В начале июля было организовано три ночных поиска, и все без результатов. В последнем, правда, удалось захватить «языка», но уже в нашей траншее увидели — мертвяка тащили. Володька Рыжий божился, что тот еще на нейтралке дергался и мычал, а каким образом отдал концы, не понять. Ни одной царапины, отчего помер, неизвестно. Предположили, что от страха у немца разрыв сердца случился, но от этого не легче. Командир полка Астафьев крыл их, не стесняясь в выражениях, на чем свет стоит. Обидное говорил, цепляя за живое. Грозился даже разогнать их по стрелковым подразделениям к чертовой матери. Они стояли в просторном блиндаже подполковника, играли от обиды и злости желваками, а с их заляпанных грязью маскхалатов под ногами натекали лужи.

Костров вдруг отрешенно, с упрямой складкой между бровями уселся за командирский стол, пододвинул стопку чистых листов и начал рисовать. Перед подполковником начал вырисовываться передний край обороны немцев. Проволочные заграждения, минные поля, первая траншея, вторая... пулеметные гнезда... батарея противотанковых орудий, еще одна за скатом высоты.

— Пал Николаич, пулемет этот никак метров на сорок-пятьдесят правее, — подал голос старшина. Костров поднял на него глаза, затем послушно передвинул огневую точку правее. Затем поочередно выслушивал сгрудившихся вокруг участников поиска.

— За время наблюдения, — наморщил лоб Герасименко, — по дороге проследовало 16 автомашин с пехотой, номера у всех начинаются с буквы, как ее, в общем, на галочку похожа, затем сам номер с цифры 8. Потом через час еще группа машин, с легкими пушками на прицепе, всего 12, и обслуга при ней. Только форма на ней отличается, и головные уборы другие, а номера начинаются с буквы, которая из палочки и точки над ней.

Костров тем временем быстро и безошибочно рисовал кепи пехотинцев и артиллеристов, шевроны на их рукавах, столбиком располагал численность проследовавшей техники и личного состава.

«Итальянцы. Ни хрена себе?! А эти что здесь делают, в полосе не только дивизии, но и всей армии их раньше не было. Это уже интересно», — оживившись, подполковник даже с табурета вскочил и стал нервно ходить взад-вперед.

Кострову тем временем докладывал Бек о всех артиллерийских позициях, количестве стволов, а лейтенант делал зарисовки орудий различного калибра.

— Товарищ лейтенант, все верно, только эти пушки, которые с набалдашником в конце ствола, вот с этими поменяйте.

Петр Молчун указал на карте, потом на схеме Кострова четыре самоходных орудия, закопанных в землю и тщательно замаскированных. Хотел отделаться молча, но все-таки выдавил из себя: «К этим самоходкам не только ходов сообщений нет, но даже тропинки не протоптаны. Бережет их немчура от нашего взгляда».

«Мама дорогая, это ж надо! — всматривался в рисунок Астафьев. — Ведь комдив собирается на это направление прямоком танковую бригаду Сорокина двинуть! Да они же в одно мгновение половину танков наших спалят!» Перед ним разворачивались мельчайшие подробности переднего края противника на глубину 4–5 километров. В завершении Костров передал ему зарисовку силуэта танка нового образца, ранее никем не видимого:

— Берегут их еще пуще, проследовали всего один раз ночью темной и как в воду канули. Их уж потом Бек отыскал — на кирпичном заводе в сараях для сушики кирпича.

Сделав отметку на своей рабочей карте, Астафьев отметил: «Удачно фрицы расположились. Отсюда на любой фланг обороны их в короткое время перебросить можно!» Уже предвкушая, как будет через час лично докладывать комдиву о результатах разведпоиска в его полку, Астафьев забыл, что час назад распекал разведчиков и крыл их матом, но теперь говорил воодушевленно: «Орлы, слов нет! Вам как разведчикам цены нету! И лейтенант... ну, художник... ну, молодчина!.. Кстати, Костров, отоспаться пока не получится, со мной в штаб дивизии поедешь. Вдруг уточнения какие потребуются». Душа подполковника ликовала, и в ушах уже слышался басовитый голос комдива: «Вот, учитесь у Астафьева, он опять впереди на боевом коне!»

А разведчикам было далеко не до похвал подполковника. Хотелось только одного — упасть и выспаться. Наверное, даже от приготовленных для них «наркомовских» и усиленной пайки нынче, пожалуй, откажутся. Сейчас бы до землянки дотянуть и упасть. Комполка они считали мужиком нормальным, по их солдатским понятиям — правильным. Не трус — это главное. Не дурак, ради звездочки на погоны или на грудь напролом батальоны никогда не пошлет — это два. А в-третьих, был хоть вспылчив, но отходчив и не жадный, когда речь шла о поощрениях и наградах его бойцов и офицеров.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Имя лейтенанта Кострова вскоре стало известно и на немецкой стороне. О том, что у русских в полосе обороны корпуса генерала Рейнера фон Зейлера действует хорошо подготовленная разведывательно-диверсионная группа, говорили постоянные похищения солдат и офицеров, причем не только из пулеметных гнезд и ячеек боевого охранения, но иногда и за десяток километров от передовой. Дерзость русских разведчиков переполнила чашу терпения, когда среди бела дня ими был захвачен майор Пауль Бонке, инженер-инспектор из системы оборонно-строительной организации Тодта.

У генерала перехватывало дыхание от одной мысли, сколько секретов содержала большая, круглая, без единого волоска голова майора. И теперь эти секреты, обладателями которых стали русские, выведенного

уже не стоят. Фон Зейлер был почти уверен, что майора теперь допрашивают на самом высшем уровне в Москве. От недобрых предчувствий неминуемых в таких ситуациях оргвыводах высшего руководства сдавливало сердце, и командир корпуса в который раз безуспешно пытался связаться с близкими друзьями в Ставке, чтобы заранее заручиться поддержкой. А как все хорошо складывалось. На участке корпуса удалось создать действительно неприступную линию обороны, плод высочайших достижений военно-стратегической и инженерной мысли. Забрехала надежда стать первым из военачальников вермахта, сумевшим остановить русских.

Генерал отмахнулся от начальника корпусной контрразведки, ссылавшегося на информацию из надежных источников на советской стороне и от захваченного пленного о том, что дело они имеют всего лишь со взводом полковой разведки, возглавляемого обычным лейтенантом без специального образования и подготовки.

— Нет, нет и еще раз нет. Полковая разведка дальше проволоки и передовой траншеи не ходит. Полковая разведка — это всего лишь прикрытой. Мы имеем дело со специально подготовленной Москвой группой. Мы имеем дело с асами диверсий и шпионажа.

Старый лис намеренно завышал статус действующих на его участке разведчиков: за годы службы поднаторел по части интриг и втирания очков высшему руководству. Позицию свою считал беспроегрышной; обезвредят русских разведчиков — ему почет и слава, не удастся это сделать — есть возможность запросить дополнительные резервы, ведь речь идет о диверсантах из самой Москвы. Одновременно он поднял всех и вся, он заставил рыть носом землю абвер, полевую жандармерию, службу СД, подразделения полиции и гестапо с прилегающих оккупированных территорий. Все для того, чтобы противодействовать — более того, категорически предотвратить получение русскими сведениями о дислокации подразделений его корпуса.

Был в немецком корпусе еще один человек, восплаивший лютой ненавистью к Кострову и его разведчикам, — гауптман Зигфрид Бонке, заместитель командира мотопехотного гренадерского батальона. В отличие от родного брата, лысого толстяка коротышки Пауля, которого уволокли эти сумасшедшие русские в своих темно-зеленых рваных маскхалатах, Зигфрид был поджар, сутуловат, с узким лицом, продолжением которого служил длинный крючковатый нос. Внешняя непохожесть не мешала искренней привязанности братьев. Кроме того, Зигфриду очень импонировало то обстоятельство, что он, будучи по возрасту младшим, по-настоящему опекал своего умнющего и одновременно абсолютно не приспособленного к суровой жизни братца. В тот злополучный день он как раз поджидал Пауля, с которым не виделся уже два с лишним месяца, в расположении своего батальона, о чем они заранее созвонились по телефону. Негодуя на обстоятельства и на проклятых русских, Зигфрид даже предположить не мог, что план захвата созрел у Кострова сразу, как только Фима Шнайдер, «севший на линию», передал ему суть беседы братьев по телефону и их договоренность о встрече.

Гауптман Бонке, с юных лет впитавший в себя идеи фюрера о расовой исключительности немцев, к своим двадцати пяти годам превратился в убежденного национал-социалиста. О «подвигах» его гренадеров в захватываемых населенных пунктах ходили слухи, одни

страшнее других. Садистские наклонности Зигфрида послужили причиной того, что от него отворачивались даже прожженные вояки вермахта, даже офицеры, сами далеко не ангельского поведения. При посещении отдела СД Зигфрид выяснил мельчайшие подробности о группе советских разведчиков, даже такую деталь, что их командир ко всему прочему — еще и художник. В завершении передал офицеру СД бутылку настоящего французского коньяка и коробку сигар с просьбой держать его в курсе событий, касающихся поимки этих чертовых русских.

А в это время весьма озадаченный лейтенант Костров возвращался на перекладных в свой полк из разведуправления штаба армии. Так высоко лейтенанту Кострову добираться еще не приходилось. В кабинете начальника управления полковника Михайлова присутствовало два майора интендантской службы в потертых, выдавших виды полевых гимнастерках. По тому, как полковник Михайлов всякий раз при обращении к нему порывался вскочить со стула, властным, не терпящим возражений интонациям и далеко не майорскому возрасту, лейтенант понял, что чины перед ним высокие, и интендантские эмблемы в петлицах не соответствуют роду их деятельности. Да и сами полевые гимнастерки, не иначе — с чужого плеча.

На столе перед одним из «майоров» он увидел папку с надписью «лейтенант Костров Павел Николаевич». После десятка вопросов, уточняющих его биографию, наличие родственников и места их нахождения, наличие переписки с сокурсниками по Суриковскому институту, эвакуированными ныне в Самарканд, и даже характер его взаимоотношений с профессором живописи Н.М. Чернышевым, они перешли к делу.

— Насколько вы хорошо знаете передний край перед вашим полком, дивизией?

— Перед полком — как свои пять пальцев, в полосе дивизии немного хуже.

— Как оцениваете оперативную обстановку на переднем крае и в ближайшем тылу противника? Я подчеркиваю, не с военной точки зрения, а именно оперативную. Скажем так, в плане проведения ответственного разведзадания.

— После захвата инженер-майора Бонке, возможно, вы слышали о таком...

— Это нам известно, не отклоняйтесь.

— Прошло около двух недель, новых поисков пока не было, но даже наблюдение через оптику с нашей стороны свидетельствует об усиленном патрулировании в дневное и ночное время, прочесывании небольших лесных массивов и роц в непосредственной близости от передовой, об использовании в охранных и поисковых мероприятиях кинологов с собаками. Кроме того, один раз было зафиксировано появление фургона с характерной антенной, возможно, для пеленгации радиосигналов. Но это не точно, это только предположение, по поводу автофургона требуется перепроверка.

— Что думаете о возможности проведения разведоперации?

— В полосе нашей дивизии я бы не рискнул. Шуму на этом участке мы наделали немало. Вина не наша, конечно, так складывалась обстановка. Но соваться сейчас именно здесь — это то же самое, что головой в петлю. Впрочем, надо знать, что за операция, сколько участников, конкрет-

ное задание. Иначе трудно определить и степень риска, и возможность успеха.

— Ну а если поступит приказ все-таки здесь осуществить эту попытку?

— Приказ поступит — будем выполнять. Только целесообразность такого приказа будет тяжело моим разведчикам втолковать. Они у меня там все профессора с академиками, туфту, какую ни попадя, не проглотят, всегда хотят доподлинно знать, чего ради риск.

— С профессорами и академиками ты, лейтенант, загнул, конечно, да и сам едва на аспиранта тянешь, так что не заносись. Подумаешь, майора-инженеришку взяли, — «майор», что был, вероятно, повыше званием или должностью, явно подначивал, говорил глухо, а в глазах с набрякшими веками — неподдельное внимание и теплота. Толковый лейтенант ему нравился, и для себя он уже решил, что именно ему поручит предстоящее ответственное задание.

— Вообще-то, у него их четырнадцать: это, заметьте, за три с половиной месяца всего. Не все, правда, майоры, но он обещал исправиться, — вставил с довольным видом полковник Михайлов; замечание его, однако, осталось без внимания.

— А где бы и каким образом сам ты взялся перейти без излишнего риска фронт?

«Ага, значит, все-таки задание связано с заброской в тыл. Неясно пока, на какую глубину», — подумал Костров.

— Я бы поискал подходящее место для перехода в других дивизиях. Разделю своих людей на мелкие группы, сам возглавлю одну из них, через пять, максимум — семь дней и подберем, и спланируем, и подготовимся.

— Богато живешь, лейтенант. Я вот, к моему огорчению, таким уймищем времени не располагаю.

— И еще одно — участвовать в выполнении задания будешь один. Ни твои разведчики, ни твое полковое и дивизионное начальство ничего не должны знать. Уяснил? Повторяю и подчеркиваю — ни одна живая душа.

— Задание получишь непосредственно в день его выполнения. В необходимости переходить линию фронта на участке другой дивизии ты нас убедил. Участок перехода тебе подберут разведчики той дивизии, на которую падет выбор. Передадут тебе участок и сразу покинут место. Чтобы понаблюдать и сориентироваться у тебя — всего два часа времени перед заходом солнца. Да, еще: с этого участка за несколько часов до твоего там появления снимается с позиций стрелковая рота, так что ни флангов у тебя, лейтенант, ни соседей, ни группы прикрытия, да и тыл слишком далек. Так что надо сосредоточиться, нервы в танковый трос скрутить, но задание выполнить.

— Легенду твоего нынешнего отсутствия в полку с полковником Михайловым обсудите. Главное, запомни: ни в каком штабе армии ты не был и дальше своей дивизии не выезжал. С ним же договоритесь о легенде твоего отъезда из полка на три-четыре дня, начиная с завтрашнего.

К вечеру следующего дня подполковник Астафьев будет с раздражением в который раз перечитывать письменный приказ из штаба дивизии об откомандировании лейтенанта Кострова сроком на трое суток для отбора пополнения в расположенный в сотне километров от передовой городок Энск. Недоумений приказ не вызывал, лишь раздражение, что непосредственно перед наступлением уезжал из полка так необходимый

сейчас лейтенант Костров. «Можно было и старшину Прокуду послать за пополнением. У него глаз на нужных людей наметанный. Справился бы», — отметил про себя Астафьев, но приказ есть приказ, а приказы он привык выполнять в точности и без возражений.

Еще через день Павел лежал, замаскировавшись в кустах на высоком берегу реки, и тщательнейшим образом, буквально сантиметр за сантиметром обследовал противоположный лесистый берег. Река была довольно широкой, метров около сорока, но мелководной, даже с островками-отмелями на середине.

По наблюдениям разведчиков, которых он сменил, сплошной линии фронта у немцев здесь не было. Немцы появлялись только днем на мотоциклах. Тщательно обследовали свой берег, иногда посылали две-три пулеметные очереди на нашу территорию. С нашей стороны, неизменно с одного и того же места, им отвечал наш «максим», словно предупреждая, что русские здесь. Немецкие наблюдатели и сами видели, что строить здесь сплошную долговременную линию обороны русские не собираются. По-видимому, считали данное направление не танкоопасным из-за множества глубоких, порой заболоченных оврагов. В плане масштабного наступления этот участок виделся им малоперспективным — впрочем, советскому командованию тоже.

На главный вопрос, волновавший Кострова, оставляют ли немцы свои посты здесь на ночь, коллеги утвердительно ответить не могли. Осветительных ракет будто бы не пускают, шумов и движения в ночное время на том берегу не отмечалось. Да, было вроде замечено несколько огоньков лишь на мгновение, но их происхождение и характер выяснить не представилось возможным.

«Мои бы выяснили, докопались до истины — или немцы там перекур устроили, или светлячки, бабочки ночные карнавалют. Да и смотаться на ту сторону Петруха Молчун с Герасименко не преминули бы. За пару ночных часов они знали бы противоположный берег не хуже родного. Ладно, и на том спасибо, место выбрано неплохое, остальное уже не от них зависит».

Коллеги молча покурили перед землянкой с капитаном с эмблемами сапера в петлицах, прибывшего на их участок якобы для выбора подходящих мест для переправы. У старшего сержанта, исполнявшего обязанности командира взвода разведки, мелькнула, правда, мысль, что инженерное командование, наверное, с выпивкой переборщило. «Додумались же: мосты наводить, чтобы затем танки в оврагах и болотах угробить. Ну да наше дело телячье. Что ни делается — все к лучшему. Еще успеем нынче во втором эшелоне отоспаться!» — старший сержант повеселел даже.

Капитан с топориками на эмблемах, он же лейтенант Костров, мысли своего коллеги прочитал безошибочно. «Это точно! Разведчик может сутками без жратвы, без воды обходиться, но только не без сна. Не выпавшийся боец — это уже не разведчик: ни тебе наблюдательности, ни реакции».

Свою задачу Костров уже знал: ночью он должен переправить на ту сторону человека. Не только переправить, но и сопроводить его километра на два вглубь. Один из бывших майоров-интендантов втолковывал неторопливо:

— Обер-лейтенант будет в соответствующей форме, ты — в форме и с документами рядового седьмого моторизованного полка Келера. Перене-

сечь его на тот берег. Он должен быть сухим и без единого пятнышка грязи. Место выхода выберешь сам, не наследуй там на берегу.

— Этот обер-лейтенант немец?

— Вопрос неправильный, а потому ответа не будет. За него несешь ответственность головой. В случае обстрела или при изменении обстановки на той стороне сделаешь все, чтобы вытащить его невредимым назад. При попытке захвата немцами живым тебе лучше не оставаться. За прямо-тоту прости, по-другому нельзя. Проникнись лучше важностью возложенной задачи. Осечек быть не должно. Сопроводжать его на той стороне будешь незаметно и неслышно до тех пор, пока он не подаст условленный знак отправляться домой.

Важностью задания Павел проникся. И сейчас, лежа с биноклем на своем берегу, наметанным глазом разведчика и художника рассчитывал шаги и минуты, подбирая заметные и в ночное время ориентиры, прислушивался к треску отъезжающих мотоциклов.

«Спускаться к реке придется именно здесь, лучше места не найти, а вот выходить на тот берег напротив нельзя... песчаная отмель... наследим... значит, нужно пройти руслом реки. Так, это примерно 60-70 метров... значит, плюс еще минут десять... нет, скорее всего, пятнадцать...» — одновременно Павел до рези в глазах всматривался в противоположный берег в надежде отыскать затаившийся немецкий дозор. Он, пожалуй, сейчас даже обрадовался бы, если немцы оставили на ночь наблюдателей и он их вовремя обнаружил. Легче обойти выявленного противника, чем лезть в неизвестность.

Вернувшись в оставленную разведчиками землянку, Павел увидел там и второго знакомого майора-интенданта, а также невысокого стройного бойца с погонами младшего сержанта. Разговор при его появлении прервался, хотя он успел услышать, что велся он вполголоса на немецком.

— Здравия желаю, товарищ майор, — потом протянул руку незнакомцу и представился: — Павел. — Тот пожал руку — ладонь была сухой и горячей; кивнул белокурой головой; открытое лицо с серыми внимательными глазами едва заметно тронула улыбка.

— Ну, вот и познакомились, — поспешно вставил майор интендантской службы, — а теперь на нары — и спать. Ровно через полтора часа разбужу.

Костров забрался на мягкую лежанку из подвядшей травы, укрылся с головой шинелью и через несколько минут мирно засопел — рука пару раз непроизвольно дернулась во сне.

«С нервами у этого мальчика-художника порядок полный, — удовлетворенно хмыкнул майор, — а вот второй явно не спит — правда, спящим притворяется искусно. Что ж, тоже неплохо».

Переодевались молча: обер-лейтенант — в отутюженную форму из большого фибрового чемодана, Костров — в поношенную одежду рядового из солдатского вещмешка. Павел, пригнувшись, уловил чужие запахи, заметил, ни к кому, собственно, не обращаясь: «Можно было и постирать, потом воняет...»

— А ты разве не знаешь, как солдаты пахнут? — миролюбиво спросил майор.

— По-разному пахнут — когда через нейтралку тащишь, они от страха порой нестерпимо пахнут. — Павел поднял глаза и встретился взглядом с «немцем», уже полностью экипированным. Тот раскачивался с каб-

лука на носок до леска начищенных сапог и смотрел на Кострова в упор, жестко и надменно.

«Ну конечно, он фриц, причем из кадровых офицеров», — «пободавшись» с немцем взглядом, отметил про себя Костров. Майор, заметив эту молчаливую перепалку, лишь подумал с удовлетворением: «Вот это школа, вот это перевоплощение!»

— Все, время вышло, детали давно все обговорены, долгих прощаний устраивать ни к чему, — и указал Кострову глазами на дверь. За неплотно прикрытой дверью Павел увидел, как майор, обняв, стиснул на спине немца руки, и услышал обрывок фразы немца: «Не волнуйтесь, Виктор Михайлович, все будет...»

«А может, и не немец вовсе. Впрочем, проехали. Сейчас о другом думать надо. А ну-ка, собрались!»

На переднем крае Павел оставил обер-лейтенанта в орешнике, предложил подождать с пол часа, даже пенек указал, где присесть можно. Тот сделал вид, что не понял, и Кострову пришлось напрягаться, выстраивая немецкие фразы. Благо все они были короткими и несложными.

«Вот черт, даже от меня секретничает. Все в конспирацию играете, господа хорошие. Да и мы тут не из глины сделаны, хотя и большую часть времени на брюхе проводим. Я-то успел уяснить, что ты, оберст, русский не хуже моей учительницы по русскому и литературе знаешь». Впрочем, Павел не мог не отметить, что после землянки его немец вел себя полностью отрешенно, оторгнуто от мира майоров-интендантов, и даже его, лейтенанта Кострова, воспринимал не как полкового разведчика, а как рядового седьмого моторизованного полка Келера. И даже на предложенный пенек не сел, безразлично поморщившись.

«Хотя в самообладании немцу не откажешь, и в умении перевоплотиться — тоже. Да, тут не полковая полевая кухня, тут дела покруче заваривают, иной закваски и масштаба. Ладно, хватит рассуждать. Как там майор говорил — “проникнись”? Вот и проникайся».

Через полчаса Костров с обер-лейтенантом на спине вошел в воду и двинулся в непроглядной тьме одному ему известными ориентирами. До островков отмелей дошли быстро, и после небольшого перерыва Костров взял резко вправо и двинулся посреди русла. Немец заерзал на спине и сжал плечо Кострова.

— Отмель там песчаная, наследить можно, — глухо прошептал Павел, заведомо зная, что тот поймет его без перевода. Немец затих, и лишь сердце в груди бухало учащенно и нервно. Павел своими лопатками чувствовал эти удары, навстречу которым неслись толчки его собственного сердца. Толчки, вызванные ощущением опасности и нехваткой кислорода в легких. Под конец пути казавшийся ранее легким немец «потяжелел». Павел сдерживал рвавшийся из глотки хрип и боялся только одного: свалиться со своей ношей в какую-нибудь вымочу.

Два горячих сердца бились навстречу друг другу то слаженно, то в разнобой, и в этом взаимном биении Костров вдруг почувствовал, что этот высокомерный фриц — это «его немец». «Его немец!» Такой же, как оставшиеся в полку его разведчики: старшина, Бек, Володька Рыжий, все другие. И он хоть сейчас порвет любого, кто посягнет на «его немца», заслонит его от любой опасности.

Они, как и планировал Костров, вышли точно к клочку ивняка,

вплотную спускающемуся к реке. Дав знак немцу дожидаться здесь, Костров, перехватив «шмайсер», юркнул в темень. Ни хрустнувшего сухого сучка под ногами, ни учащенного дыхания обер-лейтенант не услышал, только густая дегтярная темень и вязкая напряженная тишина окружали его.

Нарезав пару кругов в пятьдесят, затем в сто метров, Павел безошибочно вернулся к оставленному немцу, неожиданно возник перед самым его носом и дал знак уходить. Затем вывел на едва заметную тропу и указал дальнейшее направление. Немец в темноте нашел его руку и крепко пожал. Рука у него была сухой и горячей. Костров хотел что-то сказать на прощание, но вовремя осекся, ответил на рукопожатие и скрылся неслышно в темноту.

Не видя немца, он чувствовал его присутствие на тропе, отделяя едва заметные шорохи от сотен других звуков ночного леса. Через километр тропа слилась с лесной дорогой-просекой. Немец на минуту замер, настороженно вслушиваясь в обступившую его темноту, затем решительно свернул по просеке вправо и ускорил шаг.

«С Богом!» — мысленно пожелал ему вслед Павел и затаился, весь обратясь в слух. То, что немцы неподалеку, он чувствовал — точнее, пособачьи чуял запахи затухавших под утро костров, и даже будто потянуло подгоревшим концентратом с немецкой кухни. К тому же ближе к утру немецкий передний край, проходивший сейчас где-то сбоку, оживал. Хлопнула дверца грузовика, глухо заурчал мотоцикл, но тут же затих, взвизгнула обозная лошадь — видно, с соседом подравшись из-за всыпанного на завтрак зерна. Все эти звуки лейтенант воспринимал абсолютно спокойно, наслаждался за эти месяцы непрерывных поисков в расположении противника. Сейчас он всем своим существом жаждал только одного: чтобы не прозвучала автоматная очередь, гортанные команды немцев, иные характерные звуки быстротечной схватки.

Ему не надо было сверяться с часами, да их и не было. Свои, со светящимся циферблатом, пришлось оставить при переодевании. Рядовому Келеру такие не положены, да и не по карману. Эти трофейные ему на третьем месяце службы во взводе бойцы вручили-подарили, достали откуда-то из запасников, не иначе — с самого низа бездонного сидора старшины Прокуды. Прошло ровно 60 минут — ну, три-четыре минуты на погрешность, — и внутренние часы дали команду возвращаться. Ничего опасного на немецкой стороне не происходило, и Костров почти безошибочно определил место, где мог находиться сейчас «его немец», восстановив в памяти досконально изученную карту данного района.

«Самый опасный участок, кажется миновал. Самое для него лучшее — отсидеться в той самой роще, примыкающей к ныне вдрубезги разбитому шоссе, а днем “проголосовать” на дороге и отправиться к расположенной в 20 километрах крупной станции, бывшему райцентру. “Самый опасный участок”? А где он, в предстоящем задании, “самый опасный” для этого немца? А может, все-таки русского? Ладно гадать, все равно: “товарищ” или “камерад” — удачи тебе!»

При возвращении на нашу сторону реки в душу Павлу постепенно начал вползать страх. Нет, это была вовсе не настороженность по отношению к любой неожиданности и опасности. Это был именно страх. Страх липкий, с подсосом где-то под ложечкой, почти животный. Причин его ни сейчас, ни позже Костров объяснить не мог. Может, на мгновенье мель-

кнущий огонек в районе песчаной отмели, может, выхваченный из сотен других, нехарактерный для предрассветного леса звук — но он почувствовал присутствие буквально в двадцати метрах от себя чужого человека. Он всем нутром, собственным животом почувствовал, что сейчас раздается резкая автоматная очередь, которая полоснет его именно в живот. Прошьет точно по середине тела и согнет пополам. Леденящий душу страх и струи пота по спине парализовали его, сделали ноги ватными, а руки безвольными.

Только остатки, мелкие осколочки воли, а может, просто выработанный инстинкт самосохранения заставили его не делать резких движений, не дать очередь в точку, где росла и ширилась опасность, и рвануть к своему берегу. Он продолжил движение к островкам-отмелям так же сторожко и бесшумно, каждую секунду теперь уже спиной и затылком ожидая очередь.

Перевел дух, лишь взобравшись на крутояр ставшего родным берега и опустившись в углубление своего прежнего наблюдательного пункта. К его удивлению, оба майора были здесь: видимо, невыносимо было оставаться в землянке.

— Все пока нормально, — успел только доложить горячечным шепотом.

— Чего тебя, лейтенант, колотит так?

— Задубел малость, то роса, то река, промок до нитки.

— На-ка, хлебни, согреешься. Можешь все выпить, у нас еще есть.

Костров приложился к фляге и пил большими обжигающими глотками. Во фляжке были не обычная отдающая керосином наркомовская, а терпкий духмяный коньяк. Сроду не жадный до спиртного Костров опорожнил, не отрываясь, содержимое, предвкушая обычную при этом расслабленность. Озноб, до зубовного клацанья, до сводимых судорогой всех частей тела, не отпускал, и Павел знал, что причина не в том, что промок до нитки. Эка невидаль для разведчика — роса, вода, холод. Он дрожал от до сих пор не отпускавшего, пережитого им животного страха.

Много позже Костров не раз будет возвращаться к событиям той ночи, задаваться неразрешимым вопросом, а был ли все же кто-то на том берегу в районе отмели или это лишь плод его болезненного воображения? И тогда, и позднее он лишь утвердится в мысли о безусловном присутствии кого-то в зарослях. Но вот кого? В конце концов, придет к двум выводам. Или в операции участвовал еще кто-то, о ком законспирированные до крайности майоры не посчитали нужным ставить в известность Кострова, или на берегу затаился крупный зверь, пришедший на водопой, — волк, а может, лось.

Только с рассветом все трое уползли с НП к ожидавшему их в землянке сухпайку с американской тушенкой, галетами, шоколадом и еще одной вместительной фляжкой коньяка. «Неплохо живут интенданты», — мелькнула у лейтенанта мысль. Они втроем без слов сдвинули алюминиевые трофейные стаканчики и выпили, пожелав в уме удачи «их немцу».

Через час майоры разбудили свалившегося от усталости и напряжения Кострова.

— А теперь, товарищ Костров, тебе еще одно ответственное задание: забыть напрочь все, что видел, все, что делал, с кем встречался. Выкинуть из памяти, как и не было ничего. Усвоил?

На них в упор смотрели спокойные серые глаза молодого лейтенанта, которому часу хватило, чтобы полностью восстановиться.

— Вы это о чем, товарищ майор? Я за пополнением приехал в Энск. И вас, уж простите, что-то не припомню, не встречались, кажется раньше. Откуда меня знаете, не догадываюсь.

Майоры опешили даже.

— А что, наверное, ты прав, лейтенант, обознались мы. Ну, давай, дуй за своим пополнением.

Когда Костров ушел, откозыряв, один из майоров сказал другому: «А что, Виктор Михайлович, стоило бы присмотреться к пареньку повнимательней. Именно из таких при соответствующей работе — вон какие получаются», — и он махнул себе за плечо на запад.

Костров добрался до Энска, где ему были оставлены 11 человек пополнения: других разобрали более расторопные «купцы» соседних соединений. Из предложенного числа забрал с собой всего троих. Двух молодых спортивного сложения бойцов недавнего призыва — в надежде, что из этой «глины» можно за месяц-другой слепить что-нибудь толковое. Третьим были младший сержант из госпиталя с неровным шрамом через нижнюю губу и подбородок, отчего он присюсюкивал малость. Отвечал коротко и чаще всего дерзко. «Ну да, ну драпал от самой границы! А чо, другие, генералов включая, не драпали? Был в плену, неделю всего, а был. А чо, я один там побывал? Только те, кто сорок первый пережил, может хоть примерно представить, сколько народищу в плену оказалось. Бежал, конечно. А чо? Не надо было? Как бежал? Просто вот этими ручками удавил двоих: одного нашего, который политрука выдать намеревался, второго — немца из охраны — и деру вместе с еще пятью бойцами, раньше в одном полку служили». Младший сержант вытянул вперед руки, грубые, словно из дубовой коры, с ввевшейся навеки угольной пылью шахтера.

— Нет, из тех пятерых ни один в живых не остался. Полегли все, кто раньше, кто позже. Это уже в партизанском отряде было. Да ты, лейтенант, не в книжку мою красноармейскую смотри, тебе лучше у особистов дело мое запросить. После того, как раненого на Большую землю вывезли, и после месяца в госпитале они меня еще полтора мытарили. Потому как не шлепнули, смекаю, что нету за мной грехов больших. Дано, стал быть, «добро» мне не в лагере загнуться, а погибнуть по-людски. А что касается грехов малых? Как говорила моя бабунька, «един Бог без греха».

— Какая специальность была в партизанском отряде?

— Подрывник. Да я и в армии в саперах начинал, с минами еще тогда без дрожи в руках общаться научился.

— Все, разговор окончен, собирайся — и вон к тем двоим белобрысым, что под навесом, через полчаса отъезжаем, наша дивизионная полуторка на складе загружается. До штаба дивизии мухой долетим, а там уж дома считай.

— А чо? Нам собраться — только подпоясаться, — опять «ачокнул» младший сержант, Костров улыбнулся при этом: «Кажется, прозвище тебе обеспечено. Взводные острословы твое «а чо» без внимания не оставят».

Прошло около трех недель, и командиру полка Астафьеву напрямую позвонил Михайлов из разведуправления армии и предложил подготовить представление Кострова к ордену.

— Да мы только неделю назад его представляли, неужели не прошло?
— Отчего же, подписали все, кому положено, должен уже до полка спуститься. Ты к другому представляй. Как это за что. У тебя лейтенант такой служит геройский, а тебе ордена жалко? Ладно, скажу по секрету: того майора Бонке помнишь? Ну вот считай, что от него получены новые архиважные сведения. Об этом не упоминай, напиши что-нибудь нейтральное, сам понимаешь. Мне тебя еще учить надо? Когда ты своему заму по тылу боевой орден выдавал, нашел слова? Все, конец связи. Задача поставлена — выполняй.

Костров был единственным в полку, кто, не сомневаясь ни на йоту, понял, что вторым за неделю орденом его наградили за обер-лейтенанта, которого выводил на немецкий берег. Поделиться об этом было не с кем, да и не возникало ни малейшего желания. Он прикинул только, сложив время со дня операции и до представления, что удача сопутствует «его немцу». Без подтверждения этого далекие теперь майоры вряд ли инициировали бы его награждение.

А образ белокурого красавца, «истинного арийца» с надменным взглядом серых пытливых глаз, запечатлеется у Кострова-художника на всю жизнь. Поэтому в канун двадцатилетия Победы он за два дня напишет карандашный портрет, с которого будет взирать немецкий обер-лейтенант в фуражке с высокой тульей, с горделивым поставом головы и какой-то не немецкой печалью в серых глазах. Впрочем, работой Костров остался недоволен. Все казалось, не смог передать истинный образ советского разведчика, который должен был, по мнению художника, в любом обличе оставаться таковым.

Что делать с портретом — попросту не знал, предполагал, что переговоры об этом как-нибудь с Козыным, своим фронтовым сослуживцем и с недавних пор опекуном.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Валентину Павел встретит гораздо позже, уже глубокой с затяжными плаксивыми дождями осенью. Леса Белоруссии, и без того избыточные озерами и болотами, превратились в хляби непролазные. Возвращаясь из медсанбата, он трясся в переполненном кузове полуторки, откуда то и дело всем приходилось выгружаться и толкать застрявшую машину. Нет, он был здоров, а в медсанбате навещал раненного, к счастью, нетяжело Фиму Шнайдера. Так случилось, что срок его прикомандирования к разведзводу Кострова давно прошел, а он, продолжая числиться за штабом дивизии, оставался в их полку, благо работы для него, а соответственно, и результатов было предостаточно. Фима заматерел, научился ходить кошачьим шагом разведчика, часами, а иногда и целыми сутками молчать, общаясь в зависимости от обстановки с помощью знаков, вороньего карканья или утиног криканья. Во взводе его ценили за то, что никогда не скулил, стойко делил со всеми поровну опасности и риски, а также неустроенность фронтового быта. Но главное — Фима пел. Пел так, что мог вызвать слезы от навязанных песней воспоминаний, или неумную радость и веселье, или глубокую, до зубовного скрежета ненависть.

В кузове помимо Кострова и десятка шумных связистов с грудой катушек, сваленных в передке, ехали две девушки-медсестры. Одна — маленькая и полненькая, с носиком пуговкой, щечками с ямочками — бес-

престанно прыскала смехом, отвечая на однообразные, не всегда умные шуточки связистов и их не очень умелые потуги произвести впечатление. Другая — с выбивающейся из-под берета непокорной челкой, чуть вздернутым носом и большими серыми глазами — казалась серьезней, улыбка лишь иногда трогала ее губы. Павлу не раз приходилось слышать, что война всех надевших форму женщин делает похожими, но с его наблюдательностью разведчика и художника так вовсе не казалось. Даже по подвернутым рукавам шинели, по аккуратности подшитого подворотничка, не говоря уже о манере вскидывать глаза на обрабатывающихся к ним мужчинам и блеску или его отсутствию в этих самых глазах, он мог сказать многое о женщине. О возможной ветрености или, наоборот, строгости, о постоянно испытываемом страхе или привычке к крови и ранам, постоянному присутствию смерти на войне.

Валентина, как оказалось, ехала в батальон капитана Карпухина, лучшего комбата в дивизии, друга Павла и его разведчиков. Не случайно они чаще всего уходили в поиск из расположения именно его батальона. Были уверены: Карпухин и проводит, и возвращения дождется, и огнем при необходимости прикроет.

— Так вы, значит, вместо Ивана Николаевича? Славный старик, больше двух лет на передке, военфельдшер батальона. Командиры рот по третьему, никак, кругу сменились, комбат Карпухин тоже не с самого начала, а дед все без смены. Бойцы, когда узнали, что Иван Николаевич ранен и что ничего страшного, только мягкие ткани задело, — порадовались даже. Пусть, мол, от передовой подальше, навоевался — дальше быть некуда. Ведь старик наш с немцами еще в 1914 году на Первой мировой сражался.

— Вижу, любите вы своего фельдшера. Думаете, не справлюсь я? — спросила с вызовом.

— Отчего же не справитесь. Все когда-нибудь начинают. О другом подумал: работенка у вас уж больно тяжелая, в ранах ковыряться. Причем это даже не в медсанбате на операционном столе, а на земле... А ведь раны, знаете... порой на них смотреть страшно, не то что обрабатывать. — Павел отметил, что Валентина не передернула брезгливо плечами, не отвела взгляд.

— Я год в эвакогоспиталях отработала, причем не в дальнем тылу, а в армейских прифронтовых, причем сестрой операционной. Что надо увидеть — увидела и притерпелась ко всему, к чему в другие времена и привыкать ни к чему... — И вдруг без всякого перехода спросила: — Вы тоже считаете, что до победы рукой подать?

— До границы и вправду недалеко. Да ведь тут большим стратегом не надо быть, не остановимся ведь. Этого зверюгу в его собственном логове добывать придется, а до него еще топать... — В кузове все притихли, невольно прислушиваясь к их разговору. Машина вновь натужно заревела, сползая в очередную выбоину.

— Девчата, вы не вылезайте, мы без вас управимся. — Физиономия одного из связистов с конопухами во все лицо светилась молодецким задором. — И-и раз! И-и два!

Когда вновь уселись в машину, Костров неожиданно в первую очередь для самого себя сказал: «Приедем в полк — провожу вас до КП Карпухина».

— В провожатые набиваетесь? — спросила с вызовом Валентина. — Не думаю, что кто-то рискнет по дороге обидеть.

Костров невольно поморщился:

— Не нравится провожатый — выделю кого-нибудь из своих бойцов... Передовая тут... И под минометный обстрел угодить можно, да и снайперы немецкие на охоту порой выходят.

— Простите. — И так же неожиданно перевела разговор на другое: — А штаб вашего подразделения где?

— Во дает! — воскликнул конопатый. — Да это же... — но прикусил язык под строгим взглядом Павла. Кострова связисты знали хорошо и его ребят тоже, были даже среди них и те, кто ходил со своими катушками под самую колючку вместе с разведчиками лейтенанта.

— О! Наши пенаты неподалеку от штаба полка. Имеем честь охранять покой и сон командира полка и его доблестного штаба.

— Ага, в свободное от работы время... — вставил конопатый и вновь умолк от тычка связиста с вислыми запорожскими усами.

Прошло совсем немного времени, и разведчики заметили, что их возвращения из разведпоиска, помимо Карпухина, всякий раз, при любых обстоятельствах стала ожидать и военфельдшер. Карпухин, как правило, тискал в объятиях и первому подносил дежурную фляжку Володьке Рыжему, с которым внешне был очень похож. «Рыжий рыжего видит издалека», — шутили во взводе. Валентина бросала тревожный взгляд на сваливающегося последним в окоп охранения Кострова, на мгновение ее лицо озарялось неподдельной радостью, но тут же она старалась скрыть это строгим, будто отрешенным видом. Работы ей всякий раз хватало. Вот и сегодня старшина, оказывается, терпел от самого переднего края немцев. В немецкой траншее в короткой ручкопашной фриц успел полоснуть его ножом по руке, рана была не смертельной, но болезненной и постоянно кровоточила. С Молчуном было хуже. Уже перед нашими окопами осколком от шального снаряда расколо ему сзади ягодицу и внутреннюю часть бедра до коленного сустава. Петр истекал кровью и слабел с каждой минутой, изо всех сил стараясь не отключиться.

— Накройте плащ-палаткой и фонариком посветите, не вижу ничего, — распорядилась Валентина. Послышался треск разрываемой штанины, сдержанный стон Молчуна и ее невольный возглас: «Господи...»

Возилась она с раненым долго; наконец ей удалось остановить кровотечение. Костров держал голову Молчуна, прикладывая к его губам горлышко фляжки и твердил: «Петруха, ты держись, Петруха, сейчас в санбат доставим как миленького, потерпи только. Нам только до медсанбата и надо». После перевязки очень слабый, но враз повеселевший Молчун прошептал:

— Во... теперь чую — поживем еще. Лейтенант, ты мой сидор сохрани, я вернусь, точно вернусь... И тебе, сестричка, спасибо... я не забуду...

Любовь пришла не сразу, исподволь как-то, но навалилась так, что трудно было дышать от восторга, от счастья, от ежеминутного желания смотреть в эти распахнутые серые глаза. А еще от возросшего чувства опасности, от стремления укрыть, сберечь бесконечно дорогого человека. Прежний страх погибнуть самому не шел ни в какое сравнение со страхом потерять ее. Как никогда хотелось, чтобы война быстрее закончилась и можно было бы забрать и увезти Валентину далеко-далеко, где мир и

покой. Не единожды они садились за планшет и делал ее портретные наброски. Не нравился ни один. Ну, разве немного тот, где она вполоборота перевязывала руку бойцу в маскхалате. Виделся лишь край его перекошенного гримасой боли лица и ее руки на переднем плане, тонкие испачканные кровью пальцы и прикрытый густыми ресницами, сосредоточенный взгляд.

Когда случалось затишье, они выкраивали время и гуляли осенним лесом, загребая сапогами ковер из багряных и желтых листьев. Она читала Блока, стихи которого очень любила и знала наизусть практически все. Он рассказывал об учебе в художественном институте имени Сурикова, о первых выездах на пленэры в Троицкое, бывшее имение Воронцовой-Дашковой в Калужской области, о бесконечно уважаемом им профессоре Николае Михайловиче Чернышеве, который еще до революции был учеником великих художников Серова и братьев Коровиных, о друзьях, готовивших, судя по их письмам, выставку в далеком Самарканде, о жизни и мире живописцев — словом, о событиях, которые ему самому теперь казались уже столь далекими, что вроде и не с ним когда-то произошедшими.

Она ревниво расспрашивала о его работе с обнаженными фигурами, точнее, с натурщицами, и о том, что он при этом ощущал. Он смеялся, непонятно отчего довольный, и пытался объяснить, что художник в обнаженной натуре видит несколько иное, чем обычный человек. Он смеялся, а она отчего-то хмурилась. Разговор о человеческом обнаженном естестве принимал, как им казалось, весьма опасный оборот, и они разом умолкали, боясь спугнуть чистоту и божественную прелесть их отношений.

А ночь, только им принадлежащая ночь, все-таки случилась. Она была наполнена нежностью и трепетом прикосновений, обоюдной страстью и лаской, душевным восторгом от близости.

Нет, они, конечно, не забыли о войне, она напоминала всполохами в окне крестьянской избы, где они ночевали, гулким эхом далеких разрывов. Они не клялись друг другу в верности, не давали обещаний непременно выжить, уцелеть в этой войне для совместной будущей жизни. Им, как никому, была понятна великая цена таких обещаний.

Валентина знала, что завтра он вновь уходит с группой разведчиков в немецкий тыл. По его подчеркнuto беспечному виду и ответам, по прибывшим незнакомым офицерам из вышестоящих штабов, по возникшей, неприметной только непосвященному возне от штаба Астафьева до последнего нашего окопа в батальоне Карпухина Валентина понимала, что на этот раз задание намного серьезнее обычной вылазки за «языком». Гнала от себя мрачные мысли, но тревога за любимого безжалостно стискивала сердце и душу.

Костров после той ночи, впервые ощутив беспомощность своей кисти или карандаша, напишет стихи, четыре строки всего, но в них вместится вся его любовь.

Он уйдет в свой последний на этой войне разведпоиск, и только в послевоенном сорок шестом или сорок седьмом отыскавший его по бесконечным госпиталям Козин сообщит о гибели Валентины. Ее убьет немецкий снайпер, когда она будет вытаскивать из-под огня раненного в ноги комбата Карпухина. Война, уже кончившаяся, казалось, навывлет била Павла выстрелом из ноября сорок четвертого.

Передний край немцев преодолели на одном дыхании. Костров с удовлетворением отметил, насколько быстрыми и слаженными были действия группы. «Опыт есть опыт». Тем более, в команде были Герасименко, Бек, Фима и «Ачо». Последний в разведпоиске был всего во второй раз, но и первого хватило Павлу, чтобы определить в нем природного разведчика. Видно, поднаторел в своей партизанской жизни.

Перед полосой их дивизии, как и во время летнего наступления, оборонялся корпус немецкого генерала фон Зейлера, изрядно потрепанный, но еще достаточно сильный и мобильный. Чем ближе война подкатывалась к границам рейха, тем ожесточеннее становилось сопротивление немцев. Они огрызались зло, порой с отчаянием обреченных. Маневрируя резервами, фон Зейлеру удалось провести несколько чувствительных контрударов и заставить три советские дивизии перейти к обороне. В Берлине о нем вновь заговорили как о талантливом организаторе отпора русским, способном достичь перелома в ходе боевых действий в районе советско-польской границы. Генерал приободрился и запросил резервов. С резервами было негусто, но для него нашли довольно значительные. И не только из вновь сформированных частей в фатерлянде, но и из танковой бригады и двух моторизованных полков из Прикарпатья.

Именно с задачей выяснить, что за возню устроили немцы в полосе наступления армии и каковы их реальные силы в районе северо-западнее Белостока, и определить возможность осуществления охватывающего удара с последующим окружением всей группировки ушла в тыл немцев группа Кострова. Она не была единственной на этом участке: задействованы были все виды разведки, включая воздушную, но одна из основных задач возлагалась именно на нее. Кроме того, ей вменялось в обязанность установить связь с агентом из числа работников крупной железнодорожной станции, внедренным к немцам еще в начале сорок четвертого, получить добытые им сведения и передать новое задание. Руководство понимало, что агентурная разведка — это не епархия полковых разведчиков, но станция, где работал агент, оказалась в ходе стремительного нашего наступления в ближайших немецких тылах, и установить с ним связь, месяц назад утраченную, легче именно им, а не путем заброски десанта с воздуха.

Трудность состояла еще и в том, что операция проводилась не в привычных для Кострова и его бойцов условиях леса, а в густонаселенном районе — к тому же, до крайности нашпигованном немецкими частями.

Сейчас они отлеживались в развалинах цементного завода на окраине городка с узловой станцией. Место выбирали ночью, и оно оказалось весьма неудачным. Им оставалось только слушать лязганье вагонных буферов да несмолкаемые гудки паровозов. Что происходило на станции, было вне поля зрения. Выдвигаться в дневное время ближе к станции было большим риском, причем неоправданным. Оставалось одно — ждать.

Едва на городок опустились ранние осенние сумерки, из развалин вышли Костров и Шнайдер в немецком обмундировании со шмайсерами поперек груди. Маскарад был неполным: под глухо застегнутыми шине-

лями оставались наши галифе и гимнастерки, да и изрядно стоптанные кирзачи мало походили на немецкие сапоги. Но, как говорится, «на безрыбье...» К сожалению, это все, что удалось притащить с собой в вещмешках.

К дому железнодорожника на окраине городка вышли быстро и безошибочно. Зрительная память Кострова, который единственный из разведчиков рассматривал в разведотделе дивизии карту и схему подхода, и на этот раз не подвела. Опускающиеся сумерки позволили хоть недолго, но все же понаблюдать за домом, укryвшись в поврежденном бомбой здании напротив. Удалось даже увидеть проследовавшего в погреб и обратно хозяина. Память Кострова восстановила виденную в разведотделе единственную любительскую фотографию: сомнений не было, это был нужный им человек.

Еще через час «прослушивания» окружающей местности Фима поступал в затемненное окно, перебрoсился с вышедшим хозяином несколькими фразами. Железнодорожник пригласил его и Кострова в холодную пристройку — судя по верстаку и обилию стружек, столярную мастерскую. Он явно трусил, говорил скороговоркой на смеси польского, немецкого и белорусского, ежеминутно прикладывая палец к губам и принимал ухом к неприкрытой двери.

Запалил огарок свечи и дрожащими пальцами со дна деревянной коробки, доверху заполненной ржавыми гнутыми гвоздями, извлек маленькую записную книжицу. Затем, не умолкая ни на минуту, все пытался засунуть ее Фиме за борт шинели.

— О! Езус Мария, ради всего святого, уходите скорее. Немецкие патрули навеваются часто. Нет, стойте, еще можете передать, что через два дня, с девятнадцати ноль-ноль и до рассвета, на станции будет выгрузка одиннадцати эшелонов с техникой. Откуда мне знать какой? Известно, что дальше она своим ходом без промедления должна двинуться в район Новых выселок, это в восемнадцати километрах к северо-востоку от городка.

— Чего он так трясется? — спросил Костров Фиму. Железнодорожник понял вопрос без перевода.

— Вам, молодой человек, не понять. Семья, дети и эти постоянные проверки-перепроверки в гестапо, в СД...

— Ничего, придут наши, тебе воздастся, пан Казимеж, — успокоил Фима, но железнодорожник, ежеминутно поминая Езус Марию, чуть не силой вытолкнул их из столярки и плотно прикрыл дверь.

Разведчики ушли, но через минуту вернулись и вновь заняли свой пост наблюдения в разрушенном здании напротив. Только через два часа, убедившись, что из дома никто не выходил и пана Казимежа никто не посещал, они осторожно двинулись к развалинам цементного завода.

— Успел заметить, что там в книжечке?

— Мельком только глянул. Какие-то записи, возможно, графики движения поездов и грузов через станцию.

Костров повеселел:

— Если и выгрузка через два дня подтвердится, то уже хлеб.

В развалинах их ждали разведчики и спеленатый накрепко тощий немец с собственной пилоткой во рту.

— Я же приказал ничего не предпринимать!

— Да он сам на меня чуть не наступил, что оставалось делать, — оправдывался Герасименко.

— Что, прямо сюда, в развалины приперся? Я предупреждал: никакой самодеятельности.

— Да я и выдвинулся всего метров на двести, а то сидим здесь, как котята слепые, а тут он. Нет, лейтенант, посмотри, до чего немец хорош, — Герасименко с любовью погладил спеленатого «языка». — Все при нем: и знаки отличия фельдфебеля, и железка на груди. Знающий, толковый немец.

Фима начал допрос, и по его лицу, которое с каждой минутой становилось все более довольным, Костров понял, что немец действительно толковый и «языкастый». Это, однако, не повлияло на жесткое решение лейтенанта, сделавшего после окончания допроса характерный жест-приказ Герасименко. Скривив злое лицо, тот вновь затолкал пилотку в рот немцу и поволок его за выступ обрушенной стены здания.

Сгрудились вместе, обсудили результаты, и Костров принял решение часть группы отправить с донесением к своим, а самому же с Беком остаться еще на сутки. Сменить место, благо они уже выбрали подходящее, и продолжить наблюдение за станцией. Данные, полученные от железнодорожника, как ни крути, требовали перепроверки.

— Если до рассвета до переднего края не доберетесь, залягте где-нибудь на дневку, — подсказал он назначенному старшим Фиме. — В этом деле Герасима больше слушай, у него опыта поболее, да и нюх никогда не подводит. Все, поспешайте...

Не заладилось сразу. Они уже в третий раз меняли позицию из-за того, что немцев было кругом немерено, а чаще потому, что все время оказывались внизу и кроме скопления вагонов, платформ, паровозов, беспорядочно двигающихся туда-сюда, не видели ничего. Костров злился и поглядывал на возвышающуюся над всем этим скоплением водонапорную башню. Эта позиция была идеальной, но на ее крыше немцы надстроили платформу с козырьком, установили прожектор и пулемет.

Неожиданно в стороне виадука возникла ожесточенная перестрелка. Что это было, Павел так и не узнает. Может, партизанский налет, может, другая разведгруппа, действующая в том же районе, напоролась на немцев. «Благо, мои в другую сторону ушли, да и далеко они теперь», — мелькнула успокаивающая мысль.

Последствия перестрелки не заставили себя долго ждать. Гортанные крики, суматошно снующие всюду немцы — и вот уже густая, человек к человеку, цепь автоматчиков начала прочесывать прилегающую к станции территорию. Костров с Беком и не ждали иного, они сразу с началом суматохи снялись с места и начали отход от злополучной станции. Далеко уйти, правда, не удалось. В начале их обнаружили, затем хлесткими автоматными очередями выгнали в открытое поле, отрезая отход к темнеющему в километре хвойному лесу, туда ринулись немецкие мотоциклисты. Костров видел, как споткнулся подбитый на бегу Бек, как он приподнялся с земли и медленно поднял руки. Костров мучительно взвыл, продолжая стрелять по наседавшим с другой стороны фигуркам в мышастых шинелях. Услышал негромкий взрыв и, оглянувшись, увидел распростертое на жнивье тело друга и корчившихся подле него немцев, подорванных гранатой. Костров тоже снял гранату с пояса, успел выдернуть чеку, но немецкая очередь прошла бок, со страшной силой рванула руку. Граната отлетела в сторону. Она взорва-

дась в трех шагах от лейтенанта, ее осколки ушли вверх и лишь некоторые прошли ватник. Зажав окровавленный бок, Костров терял сознание и последнее, что видел, — это надвигающиеся на него немецкие солдатские сапоги.

Гауптману Бонке после обеда позвонил его знакомый из отдела СД и сообщил, что вчера утром в районе железнодорожной станции обнаружены русские диверсанты: один убит, другой взят в плен.

— Зигфрид, встреча с этим пленным доставит тебе удовольствие. Правда, он серьезно ранен и вряд ли долго протянет... Это командир русских разведчиков лейтенант Кюстрин, нет, Кострин. В этом нет никаких сомнений, его опознал один из пленных, попавший к нам в руки неделей раньше. Да, да, Зигфрид, действительно, — Костров, мне всегда с трудом даются их фамилии. Я помню твою просьбу, Зиг, и коньяк твой помню, он был отменный. Привези, если сможешь, и пламенную встречу с похитителем твоего брата я гарантирую.

— Что ты собираешься с ним сделать, Курт? Вы уже допросили его?

— Не узнаю тебя, старина, ты не первый год воюешь с русскими. Тебе ли не знать, что в свои элитные подразделения они отбирают убежденных коммунистов. Их легче убить, чем заставить развязать язык... Оглянись кругом, Зиг. Обожаемому тобой фон Зейлеру завтра в очередной раз надерут задницу. Нам с тобой, старым воякам, прошедшим Бельгию, Францию, Польшу, пора позаботиться о собственной — и вовремя сделать ноги из этой мышеловки.

— Ты много выпил, Курт, и очень много болтаешь. Впрочем, в вашей конторе это не возбраняется. Иногда вы таким образом пытаетесь вызвать на откровенность собеседника. Прости, но я не соглашусь ни с одним твоим словом. Скажи лучше, что ты собираешься делать с этим русским?

— Если к тому времени будет еще жив, поставлю к стенке и шлепну. Могу предоставить это право тебе, но одной бутылкой ты в таком случае не расплатишься! — Курт зло бросил трубку на телефонный аппарат и прошипел: «Болван, идиот слепой, до его куриных мозгов не дойдет никогда, что это конец. Ты тоже хорош! Нашел единомышленника. Не позднее завтрашнего дня его докладная записка будет лежать на столе твоего шефа. Плевать!» Он потянулся к распечатанной бутылке.

Костров сидел на табурете в сарае с бетонным полом, зажимая локтем разорванный бок, который после очередных побоев вновь начал обильно кровоточить. Сознание минутами покидало его, а когда возвращалось, он видел перед собой пляшущее хищное лицо гауптмана, его крючковатый нос и маленькие глазки, в которых скакало злорадство и наслаждение от мук пытаемого.

— Думаешь, я буду тут возиться с тобой?! — лаял он, и флегматичный сутулый переводчик едва успевал переводить его слова. — Нет, русская свинья, не дожدهшься. Я буду просто медленно убивать тебя. Ты не умрешь героем, ты сдохнешь на коленях с мольбой о пощаде. Ты расплатишься за все!

До Кострова едва доходил смысл перевода. Главное, он понял, что перед смертью, с мыслью о которой он уже свыкся, его хотят долго мучить, растоптать и унижить. «Господи, дай мне силы выдержать!» — впервые в жизни обращался он с мольбой к Богу.

— Впрочем, на один мой вопрос ты все-таки ответишь. Что с моим братом? Что вы, русские свиньи, сделали с моим братом?! Да, да, именно с Паулем Бонке? Вы пытали его? Вы выбивали из него секреты? Он расстрелян?

Костров разлепил запекшиеся разбитые губы:

— У нас военнопленных не пытаются до смерти... Он будет жить... А тебя убьют завтра — или послезавтра...

Страшный удар в голову свалил с табурета, его вновь начали избивать. Били ногами. Гауптман старался достать в открытые раны на боку, топтал каблуками разбитое лицо. Костров давно уже находился без сознания.

Зигфрид Бонке с трудом заставил себя остановиться. Запыхавшись, приказал переводчику:

— Оставайтесь здесь, попробуйте привести в чувство эту свинью. Я буду через час, и мы продолжим.

Сознание приходило к разведчику медленно, вместе с невыносимой болью в каждой клеточке истерзанного тела и желанием, чтобы это скорее кончилось. Но истязатели не унимались.

— Что, еще не очнулся? Сейчас я приведу его в чувство! — он схватил со спиртовки чайник с крутым кипятком, в котором переводчик собирался сварить себе кофе, и начал медленно поливать его содержимым оголенную, в рваных ранах спину Кострова.

— Вот так надо! Видишь, сразу пришел в себя! А ну-ка, усади его вновь на стул, — гауптман с наслаждением рассматривал разбитое до неузнаваемости лицо этого русского, слипшиеся от крови пряди волос на голове. Левый глаз затянуло кровоподтеком почти полностью, но правый? На Бонке смотрел абсолютно осмысленный, ясный, ненавидящий взгляд. Немца передернуло, его охватил животный страх. Хотелось бежать прочь от этого взгляда. В припадке он сбил Кострова на бетонный пол, схватил в углу обрезок ржавой трубы и начал бить его по распротертой на бетоне правой руке, крича: «Ты никогда не сможешь рисовать!»

Остатками уходящего сознания Костров ощутил, как вздрогнул пол от близкого взрыва, как множество взрывов потом слились в единый, потрясший землю удар. И вялая, уходящая в никуда, мысль: «Наши бомбят станцию. Все... дождался...»

Командир дивизии полковник Запашнев и его начштаба подполковник Козин проезжали по разрушенным улочкам городка, только что освобожденного нашими войсками. Внимание Козина привлекла группа солдат, выносившая из подвалов двухэтажного кирпичного здания тела убитых.

— Здесь заведение абвера было или гестапо, — докладывал немолодой старший сержант. — Их прямо в подвале, в камерах перестреляли, сволочи. Есть и военные, и гражданские.

— Что, и в живых никого?

— Есть один, его вон из того сарая вынесли. Думали, тоже мертвый, а у него сердце бьется... Но не жилец, кажется, досталось ему. Вон под навесом над ним фельдшер колдует. Вы бы, товарищ подполковник, не ходили туда, там даже бывалому глядеть страшно.

Козин поспешил под навес, склонился над разостланной плащ-палаткой и невольно отшатнулся. Кровавое истерзанное месиво и правая рука на отлете с изуродованными, сплюснутыми пальцами в сгустках

черной крови. Лица было не узнать, но по каким-то неуловимым чертам он узнал и заскрипел зубами в отчаянии. О том, что Костров и еще один разведчик не вернулись с задания, ему стало известно накануне. Но не оставляла надежда, что и на этот раз выкрутится лейтенант. А тут такое!

— Что там еще? — спросил Запашнев, и Козин ответил не сразу, смотрел отрешенно в землю и качался, словно пьяный.

— Разведчик там наш с 246-го полка, лейтенант Костров.

— Костров? Мать честная! Живой? Нет?

— Дышит едва. Уделали парня... — в горле у него клокотало. — Это ж мясники! Как же к вам, сволочам, относиться гуманно? Нелюди, нелюди! — в бессильной злобе ударял он кулаком по крылу машины.

— Живой все-таки?! — Зычный голос полковника загремел в сторону машины сопровождения: — Власенко, живо всех дивизионных эскалапов сюда, начмеда в том числе! Машину санитарную немедленно! Владимир Павлович, я на КП, оставайся здесь, обеспечить, все что нужно. Только б выжил! Ах, Костров, Костров!.. Да мы же благодаря данным твоей группы почти без потерь городок этот взяли...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Старый учитель поднялся с кровати, глянул на белесый, ленивый рассвет за окном, долго и нагужно кашлял. Болела каждая косточка, в затылочной части головы больно стучало тяжелым молотом. Спал, нет ли? Сновидения мучили — или память, бессонная память проявляла картины далекого прошлого? Так и не понял. Попробовал немного подвигаться, размяться, разогнать застоявшуюся, казалось, кровь, но суставы так жалобно заскрипели, а мышцы отозвались такой болью, что он оставил эту затею и поковылял на кухню ставить чайник.

Не за горами четверть века, как война отгремела, а он все воюет, все не может выйти из того последнего боя. Когда бил, было легче, а может, только казалось, что легче. Зыбкое, непрочное это было забытье, а еще страшнее было возвращение опять в войну, в разрывы, в кровь.

Тогда в сорок четвертом он стараниями Козина и медиков выжил. Нет, не выжил. Он тогда просто не умер. Почти год его перемещали из одного госпиталя в другой, с одного операционного стола на другой. И он не жил, а пребывал где-то между жизнью и смертью. Он не помнил своего имени, не знал, кто он, где воевал, где получил увечья? Болезненно вздрагивал от любого шума, в страхе закрывался руками от окрика или просто от громкого голоса. Он почти не говорил и лишь пугливо озирался по сторонам. Он барахтался в своих ни на минуту не проходящих болях среди таких же абсолютно беспомощных солдат-безнадег, искалеченных войной и оставшихся без роду-племени.

Именно в таком состоянии и нашел его Козин в сорок шестом. Костров беспомощно и виновато улыбался, здоровой левой ладонью с любовью поглаживал руку полковника. Он точно знал, что перед ним близко знакомый ему человек, память выхватывала из своих закоулков обрывки давно минувшего, где они были вместе. Но кто он, этот полковник? Как зовут его, и почему уже второй день приходит к нему? Он не знает! Но так хочет знать, что от бессилья глаза туманились слезой, которую не удержать, и Костров стыдливо отворачивался.

— Что вы хотите, голубчик? — говорил Владимиру Павловичу лече-

щий врач-психиатр, очень старенький, с белесым пушком из-под медицин­ской шапочки. — Последствия тяжелейших черепно-мозговых травм могли бы быть хуже. Чудо, что он вообще выжил и что с психикой все не так уж плохо — не буйствует и, в целом, понимает, что от него хотят...

— Можно ли что-нибудь все-таки сделать, доктор? Это такой парень был. Настоящий герой.

— И-ех, голубчик, таких в моем заведении на Московской — большая половина. Даже два Героя Советского Союза есть. Что поделаешь? Что до вашего Кострова, то что-то мне подсказывает, что он поправится. Раны телесные ему зашили-заштопали, насколько это возможно было, а для лечения душевных — обстановка здесь для него не самая подходящая. Его бы в семью, к родным, да знаю из документов, что нет у него близких. Увезти бы его куда-нибудь в сельскую местность, где природа, лес, река. А главное — куда война не докатилась, где хоть немного посытнее, где молока можно добыть...

Потом будет все: и тихое оренбургское село с заботливой хозяйкой, и постепенное восстановление памяти, речи, и способность жить самостоятельно, без посторонней помощи. Восстановилось почти все, кроме работоспособности правой руки. Изуродованные пальцы не сгибались, ладонь не могла даже на рукопожатие ответить, сама рука порой начинала неожиданно и непредсказуемо конвульсивно дергаться. Костров понимал, что как художник он кончился, и чувство бессилия переживалось намного острее физических немощей. Тем более что в душе он оставался именно художником, и воображение подсовывало картин­ки, как он ведет угольком первую линию, которая явится потом овалом лица его доброй старушки-хозяйки. Или вот — стоит перед чистым холстом и намеревается нанести первый мазок, а перед ним — хозяй­кин сад с мокрыми после дождя листьями. Он видит на листьях капли влаги и блики выглянувшего после дождя веселого солнца, слышит жужжание пчел и чувствует запахи этого сада, утра. И Костров — опять же, в собственном воображении — перебирает краски, спорит сам с собой о наиболее подходящей для этого первого мазка... Все заканчивалось бессильным зубным скрежетом, наваливающейся страшной головной болью и желанием уйти, убежать от этих навязчивых видений.

Однажды ночью, страхнув полусон, полузабытье, он кинется к столу и на подвернувшемся листке — нет, кажется, это была просто об­оротная чистая сторона книжной обложки — начнет судорожно левой рукой рисовать портрет своего боевого друга Бекмамедова. Карандаш будет ломаться, он, неловко придавив его к столу, будет затачивать и вновь рисовать... рисовать. Левая рука, повинувась сигналам внутрен­него видения, нанося штрихи и линии, действовала неуверенно, порой срывалась, уводила в сторону — либо, наоборот, не могла донести ли­нию до конца. Промучившись до утра, обессиленный, Павел сумрачно глядел на свое творение, и слезы наворачивались на глаза: друг выглядел непохожим, невыразительным, неживым. «Проклятый фашист! Из-за тебя все!..»

И только в поставе головы, в напряженной позе одетого в маскхлат разведчика едва-едва, самую малость угадывалось что-то живое, чисто бекмамедовское. Видно, это и удержало не порвать, не выбросить эту картонку. Уже в годы учебы в пединституте, куда силой затащит его Козин, он не раз тайком от других и, казалось, от самого себя будет делать

попытки рисовать левой рукой. Все эти попытки чаще всего заканчивались горьким отчаянием и лишь иногда — слабой надеждой. Лучшие из работ лежали и сейчас в фибровом чемоданчике. Том самом, фронтовом, который чудом сохранил и привез ему в начале пятидесятых единственный оставшийся к тому времени в живых из их разведзвезда Фима. Ныне не Фима уже, а Ефим Яковлевич Шнайдер, ректор музыкально-педагогического института.

Класс и сегодня оставался неуправляемым. Группа девушек сгрудилась в углу. Там открыто рассматривали, негромко обсуждая, выкройки в каком-то журнале. Братья Плешаковы, не обращая внимания на учителя, раскладывали многочисленные коробочки с красивыми неживыми бабочками. На «камчатке» несколько ребят сидели вокруг развалившегося за партой Виктора Колодкина, чему-то громко смеялась.

— Тема сегодняшнего урока — социально-историческое значение Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вы уже проходили войну в седьмом классе, сегодня остановимся на ее значении для народов Европы и мира в целом, — глуховатый голос учителя едва был слышен среди общего гомона и возни.

— Во, сейчас еще один очевидец начнет рассказывать о бессмертных подвигах.

— Точно. Не ясно пока — о своих или чужих.

— Ты совсем офигел, Колян, наш учитель и война! Кто его, убогого, в армию возьмет! Просидел где-нибудь в тылу и радовался, что с такими руками-ногами на фронт не пошлют.

— Зря вы, пацаны, может, он инвалидность как раз на войне и получил?

— Ты чо? Ты на его сизый нос посмотри, это же синяк, алкаш конченный...

Костров, отвернувшись к доске, слышал диалог и мало удивился ему. Такое или примерно такое было с ним и в московских школах, где довелось работать. Вдруг в спину меж лопаток вцепился сжеванный бумажный шарик, запущенный кем-то из учеников. Послышался смех.

Павел Николаевич медленно повернулся и встретился с вызывающим, наглым взглядом Колодкина.

— Зачем же так? В спину... нечестно.

Ученики в упор смотрели на него, ожидая дальнейшего развития. Ритка откинула челку и, не пряча ядовитой ухмылки, готова была поддержать общеклассную обструкцию этому зануде учителю.

А он стоял перед ними, сугулив плечи и пряча взгляд, жалкий и беспомощный. Затем поднял глаза и начал всматриваться в лица этих ребят: «Откуда? Отчего? Кто дал им уроки безжалостной черствости? Почему не научили любить? По возрасту они почти ровесники тем, кто был со мной на войне? Отчего такая несхожесть? А главное, что же делать мне с вами? Как научить думать? Научить отвечать за свои слова, поступки?» Решение пришло не сразу, но оно пришло, и он расправил плечи. Выбрал среди свернутых в рулоны плакатов на подоконнике один, почище и поновее. Кажется, плакат предупреждал о соблюдении техники безопасности при обращении с огнем. Но не он сейчас привлекал внимание Кострова, ему требовалась чистая, хотя далекая от белоснежности, оборотная сторона.

— Помогите закрепить, — позвал он сидевшего на передней парте

долговязого очкарика. — Нет, пониже чуть-чуть, вот еще кнопки, возьми. Достав из кармана небольшую коробочку с грифельными палочками, он выбирал подходящие. И вот на белом листе, растянутом на классной доске, он провел первую линию, затем вторую, третью, с удовлетворением отмечая, что левая рука не дрожит, она послушна и эластична.

А штрихи и линии все ложились и ложились на белый лист, и вот уже непокорная челка и чуть вздернутый нос обозначились на нем, а затем и большие глаза в тени густых ресниц. Какое-то время класс еще по инерции гудел негромко, потом стихло все, и установилась тишина. Тишина вовсе не напряженная, а живая, сотканная из удивления, внимания, раздумий.

— Это же Ритка, — словно очнувшись, негромко произнесла девушка с толстой пшеничной косой. — Вы не видите разве, это Ритка!

Все увидели это, наверное, даже раньше, но не произносили ни слова.

Но что это? На голове Ритки была кубанка со звездочкой, на выдвинутом плече — погон младшего сержанта и сумка с крестом посередине.

Ученики давно уже покинули свои парты и полукольцом окружили учителя. Кто-то сидел, напряженно вцепившись руками в стул, кто-то стоял, опершись на плечи сидящего. Ритка восседала посередине, и Костров иногда бросал на нее взгляды, выделяя и подчеркивая отдельные штрихи. Она закусилла нижнюю губу и немигающими, настороженными глазами смотрела на ту, что была на листке. Это точно была не она. А может, все-таки она?

— Колодкин, Виктор, кажется, подойди, присядь вот здесь. Нет, ничего не надо делать. И на меня не надо смотреть, просто повернись и смотри в окно.

И отъявленный хулиган послушно сел, как от него требовалось. На лице — не развязная вечная ухмылка, а серьезный, чуть встревоженный взгляд.

На прозвеневший звонок никто не обратил внимания: лишь когда в дверь несколько раз заглянули выскочившие в коридоры школьники, долговязый очкарик подошел к двери и вставил ножку стула в ручку двери. Шел чуть ли не на цыпочках, делать старался все бесшумно, словно боялся нарушить установившуюся тишину. Урок истории нынче был последним, но никто не двинулся с места. Все внимание было приковано к чистому листу.

А на листе, устало привалившись к стенке хода сообщения, сидел их Витька Колодкин в пилотке, с откинутым за плечи капюшоном маскалата. Из-под пилотки видна коротко стриженная голова, разбитые борцовские уши и такой знакомый всем желвак на скуле. Рита перевязывала ему руку, а он кривил от боли лицо и молчал. То, что ему больно, видели все, и жалели, что ему больно, и в мыслях торопили Ритку делать перевязку поскорее.

Работа подходила к концу, Костров по-настоящему устал и взмок даже. Одного кивка хватило, чтобы долговязый подошел, помог снять его мешковатый пиджак и повесить аккуратно на спинку стула. Машинально провел по плечам, невидимую соринку смахивая.

Когда он закончил рисовать, все потрясенно молчали, просто по-новому глядели на старого учителя-калеку, на героев его рисунка, на Ритку с Витькой. Лишь два вопроса последовало. Спрашивала та самая, с длинной пшеничной косой, видно, не в силах была смолчать.

- Это Ваши? С кем на войне были?
- Да.
- Они живы?
- Нет.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Начало мая в этом году выдалось дождливым и теплым. Дождевые струи жадно впитывала земля с ярко-зеленой молодой травой, от них еще сочнее становились липкие резные листочки деревьев. Набухшие цветочные почки черешен и вишен только и ждали, когда выглянет солнце, чтобы вспыхнуть белой кипенью по городским садам и скверам. Оно и впрямь к обеду выглянуло из-за туч, ясное и чистое, дождем умытое. А тучи, еще несколько часов назад темные и тяжелые, сдвинулись, исчезли вовсе, будто и не было их.

Таким же праздничным и нарядным выглядел в этот майский полдень спортзал средней школы, в котором усилиями учеников 10 «Б» класса открывалась персональная выставка художника Павла Николаевича Кострова, их учителя, а с недавнего времени — близкого друга. Они и сейчас были рядом. Братья Плешаковы по левую и правую руку, Колодкин впереди, долговязый очкарик сзади. Почетный эскорт! Так и вошли в зал, где уже собрались учителя и ученики.

— Ну что же вы? Почему не уговорили? — с негодованием выговаривала Ритка Колодкину

— Уговоришь его. Уперся и все, говорит, это ордена фронтовые, причем здесь работы художника, да еще эта выставка.

Подошел извещенный десятиклассниками председатель областного отделения Союза художников — с длинными волосами чуть не до плеч, в берете блинчиком, именно такой, каким обычно представляют художников. Он долго тряс левую руку (правую в черной перчатке Костров прятал за спину):

— Здорово! Просто замечательно! Неожиданно даже. Будем думать об организации выставки в Доме художников, а то и в областной картинной галерее.

В зал зашел прибывший прямо с вокзала Козин с плащом на левой руке, близоруко щурясь с улицы, глазами ища виновника торжества.

— Мое начальство прибыло, — наклонившись к Кострову, проговорил директор школы.

— Мое тоже, — поднялся Павел Николаевич. Трость брать не стал, сделал два почти четких уверенных шага навстречу, вытянулся:

— Товарищ полковник... — дыхание перехватило.

— Павел! Здравствуй, брат, здравствуй... — тоже дыхание перехватило. Обнял бережно...

— Ну вот, а ты говорил... показывай давай. Я так понял, это содержимое фибрового чемоданчика? Фимка, Ефим Яковлевич то есть, не смог приехать, хоть я и приглашал. Везет своих музыкантов с концертной программой в ГДР. — Повернулся к директору школы: — Здравствуй, Александр Борисович, вот и вырвался, как обещал. Что-то ты сегодня такой радостный, словно клад нашел.

— Нашел. Спасибо, Владимир Павлович, — с теплотой поглядел на Кострова Разин.

Все постепенно разошлись вдоль стены зала, на которой висели не

ярко и броско, не радужно и красочно исполненные полотна, а простые листы бумаги, иные пожелтевшие, со следами попавшей влаги, с черно-белыми рисунками. С них сдержанно, но как-то возвышенно и строго смотрели люди с самой жестокой войны, которая выпала на их долю.

Вместе с Козиным, опираясь на костылик, переходил от одной картины к другой Павел Николаевич; губы его со следами застарелых шрамов едва слышно шептали: «Петька Молчун... А это — Володька Рыжий и рядом — очень похожий на него майор Карпухин... Старшина Захар спит в землянке, руку тяжелую, морщинистую, словно корье дубовое, откинул во сне... Все верно, в тот раз я именно руку на передний план вывел. Сильную, натруженную. Такая и вихры новобранцу потреплет, и от беды укроет... Здесь — тот самый немец, что мы под Хомичами взяли, ефрейтор. Карикатурно немного вышел, да уж теперь какой есть. А это — Валентина... Валя моя, что-то слишком печальная получилась в тот раз, без огонька и блеска в глазах. Может, уже тогда чувствовала, что счастье наше недолго...

— Смотрю, Павел, тут не только из чемоданчика картины. Рад, не представляешь, как рад за тебя!

— Да, есть немного сегодняшних, это все больше ребятки мои из десятого «Б».

Вдоль стены двигалась десятиклассница Лидка с толстой пшеничной косой под руку с дедом. Дед скрипел протезом правой ноги, на груди — две медали: «За взятие Кенигсберга» и «За Победу над Германией».

— Смотри, Лидок, смотри, никак Васька Самохин, ефрейтор, наводчик наш. Там в Восточной Пруссии за день до моего ранения голову сложил. Ну точно он, две капли воды. Где этот художник ваш, спрошу у него.

— Вряд ли, деда. Он, когда вы Кенигсберг брали, уже в госпитале был.

— Как же «не может быть»? Васька вот как живой, а ты — «вряд ли»...

Рассказы

РАССКАЗ ДЕДА АЛЕКСАНДРА

Дед мой, Александр Степанович Жалнев, или просто дед Сашка, был стариком крепким, могутным, как говорили о нем на селе. Силушкой, здоровьем Бог не обидел, что при его кузнечной специальности обстоятельство немаловажное. Крикнет, бывало, молотобойцу: «Васька, подсоби колесо с телеги снять! Да пенек приготовь подставить». Подойдет к телеге, подымет ее, подержит, пока Васька не управится. Опустит спокойно, не крикнет, от натуги не покраснеет, а на то, что в телеге той 15 шестипудовых мешков ячменя семенного, он и внимания не обратит. И то верно, не разгружать же.

Забалует в станке жеребец злющий, которого ковать привели, дед Сашка упрекнет его ласково так: «Ну, ну, побалуи у меня», — и опустит тяжелую беспалую руку на круп злодею. Тот, бедолага, на землю до самой репицы присядет, и до окончанияковки в башке его — одна-разъединственная мысль: «Действительно, чо это я разбаловался?» А уж когда дед Сашка выведет из станка, потреплет по гриве, по шее со словами: «Ну, вот и ладненько, вот и молодчина», — у злодея от любви к деду и умиления — просто восторг, как у жеребенка-годовичка.

Дед воевал, но вспоминал об этом нечасто, да и не принято это было в описываемое время, когда и двух десятков лет с окончания войны не прошло. Среди работающих колхозников фронтовиков было едва ли не половина, хвастать особо не перед кем было. Большинство — войною меченные: кто без ноги, без руки, кто без глаза, Александр Степанович, к примеру, три пальца правой руки потерял. Выдающихся героев в нашем селе не было, к тем, кто вовсе без ордена или медали вернулся, относились спокойно: фронтовики знали, что на войне у каждого своя судьба, и чаще всего не ты, вчерашний крестьянин, ныне шинель надевший, ею распоряжаешься. Вернулся, и слава Богу, село ведь и без того ровно на две трети мужского населения обезлюдело.

Из всех многочисленных внуков дед Сашка выделял меня, может, от того, что чуть взрослее других оказался: мать моя была его старшей дочерью — еще, как он выражался, «довоенной закваски». А еще не боялся я грязи и копоты старой кузницы и уже пытался тюкать молоточком по раскаленному металлу. Дед ухмылялся, что я не скобу какую-нибудь мастерю, а пытаюсь лист кленовый из железного хлама выковать. Хвалить — не хвалил: «Особо пока не за что». Ругать — не ругал: «Пока тоже не за что. Поживем — увидим».

Еще дед любил слушать, как я стихи читаю. А знал я их наизусть превеликое множество. Уйдем с ним в жаркий день на речную песчаную отмель, окупнемся пару раз после жаркой кузницы, на песке развалимся. Я в облака смотрю, стихи деду читаю, он слушает, голову чуть на бок склонит, и песок горячий из ладони в ладонь пересыпает. В правой беспалой руке песок плохо задерживается, но дед этого не замечает, слушает внимательно.

Были и про войну стихи, но относился к ним дед двояко. Про одни убежденно говорил: «Вот это верно!», про другие — скептически: «Нет, такого не бывает».

— Да как же не бывает? — горячился я. — И здесь, и там война, бой, смерть друзей. Отчего же там «верно», а здесь «не бывает».

— Уж и не знаю, Сереня, как объяснить тебе. Только вот чувствую, что тут правда фронтовая, окопная, а здесь ее, этой правды, недостает, а то и вовсе нет. Вот, к примеру, видел ты в своих книжках картинки разные. На одной известный художник бабу нарисовал. Смотришь на нее, любуешься, и видно тебе, характерная она или, наоборот, ласковая да приветливая. На другой картинке баба с плаката, глаза строгие в кучу собраны, но не живые, кулачищи поболее, чем у моего молотобойца Васьки. К тому же эта неживая тетка непременно что-то от тебя требует, зовет куда-то. А куда же она звать может, коли неживая. Так и со стихами твоими: одни живые, а другие — они вроде и складные, а нет в них жизни, правды настоящей нет... Что до того «бывает — не бывает», тут история, Сереня, другая немного. Война — она, стервь окаянная, иногда такое выкидывает, во что и поверить невозможно. Да-а, вспомнишь иногда и думаешь: «Неужель и впрямь со мною приключилось такое? Ведь скажи кому — ни за что не поверят!»

— Деда, а деда, расскажи, ну расскажи, что же такое было, что само-му до сих пор не верится?

— Расскажу, только, чур, о том никому ни слова, а то еще упекут твоего деда туда, куда Макар телят не гонял.

Я закивал головой понимающе, даже сделал характерный жест — «зуб даю».

Дед ухмыльнулся и говорит: «Так вот, за время войны немцы спасали мою жизнь дважды...» Я не мог сдержаться: «Ну ты даешь, дед! Такого не бывает! Где же это видано, чтобы фашисты — и...» — прикусил язык вовремя, видя, как нахмурился дед и как его правая культяпая рука потянулась с намерением отвесить внуку затрепину. Замерла на полдороге, потрепала нечесанные, мокрые после реки вихры.

— Война для меня началась у самой польской границы. Сколько их тогда навалилось на нас, мать честная?! Как в первых боях не погиб, до сих пор удивляюсь... А уж когда от нашего артополка одни головешки остались, двинули мы группой человек в семь на восток. А на востоке уж и рокот боев вроде как стих совсем. Идем, точнее, крадемся, и не знаем, то ли наши так далеко отступили, а то ли и вовсе всю нашу армию уже разбили. Всякое в башку дурью лезло. Днем наблюдаем, как по всем дорогам немецкая техника пылит, и нет этим колоннам ни конца, ни краю. Ночью в лесах от таких же бедолаг-окруженцев шарахаемся, а идем все ж таки. Как-то там, еще в Белоруссии, заметили нас немцы в поле овсяном, где мы на дневку залегли, и давай на мотоциклах гоняться. Гогочут, улюлюкают и свинцом из пулеметов да автоматов поливают. Затем раненых добили, а живых, человек с десятка, пинками на дорогу выгнали: мол, давай, топай на запад.

К тому времени я уже знал, что это за звери, потому уже тогда решил, что лучше пусть при побеге убьют, чем от голода и побоев сдохнуть. Через неделю случай представился, и рванули мы. Бежало нас много, но только я один и смог от погони оторваться. Может, кто и остался в живых, только я уж больше не встречал никого из них.

Еще с неделю, словно волк-одиночка, лесами брел, затем к лейтенанту одному прибился, с которым два бойца его были. С ними вместе и зашли мы в деревеньку одну, это уж на Смоленщине. Лейтенант тот в плечо раненный был, а мы все до того отощали — едва ноги волочим. Хозяйка сердобольная целый чугунок картохи наварила, впервые наелись вволю. А как набили брюхо, так и повалились где кто сидел: сон сморил и усталость. Растолкала нас старуха часа через полтора, да уж поздно — немцев полон двор, и уж на крыльцо, слышим, входят. Офицер первым вошел в хату, за ним солдат трое. Мы онемели, лопатками к стене приросли и, чтобы сразу не грохнулись, руки вверх подняли. Куда ж денешься — за ними сила. Офицер говорит что-то солдатам, а те смехом давятся и на нас пальцами тычут. Опять что-то пролопочет им, они вновь за животы хватаются.

Офицера этого я хорошо запомнил: молодой, белокурый, высокий, и плащ на нем черный кожаный. Выпроводил он солдат на улицу, фуражку снял и белоснежным платочком изнутри протирает. Вдруг на чистом русском говорит вполголоса: «Мы сейчас уезжаем, а вы уходите быстро. На север идите берегом реки до деревни Червленной, там немецких частей нет и в ближайшие дни не будет». Достает пистолет из кобуры и всю обойму в потолок. Мы на пол попадали. Поднялись, когда уж слышали, как немцы от дома отъезжают. Чувствуем — запах гари никак. Перед отъездом немцы хату запалили. Мы хозяйку из запечья вытащили, куда она еще раньше юркнула, и через заднюю дверь — деру. Вовремя успели, до конца огорода добежали, а сзади крыша соломенная и потолок в доме рухнули.

Не обманул нас тот немецкий офицер, действительно, в Червленной

прицелив не было. Старик нас местный приютит, а затем к фронту почти вплотную вывел. Тут, на наше счастье, под Ельней советские части фашистов крепко даванули, и мы уж через неделю были у своих.

Двадцать лет, если не больше, прошло, а по сей день я никак уяснить не могу, кто он, тот немецкий офицер? Отчего вдруг пожалел, не стал убивать? Откуда на русском, как мы с тобой, разговаривал? Может, и не немец он вовсе? Может, он мальчиком еще с родителями в гражданскую в Европы подался? Или вовсе наш, советский, в немца переодетый? Вот так-то вот! А ты: «Не бывает».

— Ну, ну, дедунь, дальше-то что было? — заторопил я деда Сашку.

— Не нукай — не запряг еще. Что дальше? Дальше, брат, война. Да все какая-то невеселая. Колошматит нас немец, и нет ему никакого укороту. Вновь все пятимся мы, да так, что до самой Москвы допятились, дальше вроде бы и некуда. Нет, что ты, никто мое окруженчество не вспоминал, не до того было. Я в артиллерии, вновь наводчиком. Ничо, однако, славно воевал расчет наш. Пушчонка наша, сорокопяточка, невелика шибко, а с ней мы не одну железную тварюгу фашистскую по дороге к Москве остановиться заставили... А потом объявился у нас в полку один очень дюже въедливый особист один. Уж так ему интересно стало, как это изо всего полка я один живой к своим выбрался и что я у немцев в плену целую неделю делал. Ведь я ему все как на духу рассказал — и про полк разбитый, и про неделю в плену у немцев, и каким образом в деревню Червленую попал да потом под Ельней очутился. Нет, не тут-то было. Вынь да выложи, чем в немецком плену занимался? А я по молодости, чего греха таить, резковат был. К тому же война так обтесала, что уж и сам черт не страшен стал. Вот и объявил ему с нажимом: «Целую неделю в плену я только и делал, что на запад шел! А рядом тысячи, многие тысячи таких же, как я. Среди нас и командиры с комиссарами были. Все шли, а кто идти не мог, того пристреливали. Шел и я, шел, а потом бежал. А где ж тут вина моя, что других побили?»

— Да ты, сволочь, еще и на родную Красную Армию клеветнешь? На ее славных командиров и комиссаров? Все, нет к тебе больше у меня вопросов, сейчас часовой вернется, отведет тебя в подвал.

Сам за стол сел, пером скрипит, бумажками шуршит.

Сижу я в уголке, думки невеселые перематывают, чем, мол, все это кончится? А тут — налет немецкий, самолеты ихние бомбить нас начали. Кругом огонь, грохот, дом содрогнулся весь. Смотрю, а особист неловко так головой в стол ткнулся, а из виска струйка темная — видно, осколок в окно влетел. Я еще хотел его на пол спустить, перевязать. Какое там? Он уж без признаков жизни. Гляжу, а на столе перед ним на казенном бланке представление на меня в трибунал. И в строчках, которые он чернилами писал, изложено о том, что я немецкий пособник, дезертир, паникер, а еще веду клеветнические разговоры о нашей Красной Армии. И есть, стало быть, все основания подозревать, что к немцам я специально переметнулся, а к нам уж с их заданием прибыл. И что смертного приговора достоин. В глазах у меня потемнело. Да как же так! Я ж за Родину кровь лью свою и немчуры поганой, а меня — в предатели?! Схватил я со стола бумаги те приговорные, папчонку с делом на меня и в печь их затолкал. Только зря старался: дом и сам через минуту ярым пламенем занялся. Вытащил я особиста мертвого, отволок к плетню, а сам — ходу на батарею, там ребята уж первую атаку отбивать

начали. Опять нас вдрызг разбили, хотя мы еще полдня держались. Ранен я был и контужен крепко, а когда оклемался в госпитале и на переформировку попал, я уж свою боевую жизнь с того самого 117-го полка начинал, что разбит был под Москвой на берегу Истринского водохранилища, то есть не с июня, а с октября сорок первого я воевать начал. Так-то вот!

Выходит, что, не желая того, немцы второй раз мне как бы жизнь подарили. А ты говоришь «не бывает». И не такое бывает, брат. Только об этом — ни гу-гу, Сереня.

ЗНАМЯ

Уважаемый всеми фронтовик-сталинградец, а ныне завхоз конно-спортивной школы в областном центре Григорий Иванович Хохлов редко делился своими воспоминаниями о войне. Видно, они были неизменно тяжелы и кроме боли, давящей за грудиной, мало что вызывали. Но иногда они накатывали и подолгу не отпускали, как сегодня, к примеру. «В Сталинграде был, конечно, ад крошечный, — вспоминалось ему. — А все ж было и пострашнее». В Сталинграде он знал, что рядом друзья слева-справа, пусть поредевшие, зато невероятной стойкости соседние роты. Есть командиры, научившиеся за полтора года войны воевать, отдавать толковые, выполнимые приказы. Была ежеминутная вероятность смерти, но и сама гибель была не бессмысленной. Оправданной, если хотите. Имела цену свою — за тот вон этаж полуразрушенного дома, за более выгодную позицию в развороченных бомбам и снарядами заводских цехах, за выручку десятка бойцов, отрезанных немцами от своих, за эту тонюсенькую полоску приволжской земли, за которой жизни для защитников Сталинграда уже не существовало.

До всего этого у него был май и июнь сорок второго. Было Барвенково. Называли и называют это место и события, с ним связанные, по-разному: «Барвенковский выступ» или «Барвенковский плацдарм», «Барвенковский котел», «Барвенковская катастрофа». Как ни назови — все правильно, все в точку. Именно с Барвенковского плацдарма они начали наступление. Именно отсюда, вгрызаясь в немецкую оборону, без должной артиллерийской и воздушной поддержки, поливая кровью пехоты мелкие горы и непросохшие к середине мая степные балки, они шли вперед. Целью наступления был Харьков, и он уже был виден без биноклей, когда поступил приказ остановиться и вернуться к исходным рубежам. Не только такие, как помкомвзвода сержант Хохлов, но и большинство офицеров не знали, что к тому времени немцы сходящими ударами с севера и юга отрезали Барвенковский выступ у основания и все туже стягивали котел окружения.

Григорию Ивановичу до самой смерти не забыть, как на площади всего в 15 квадратных километров скопилось несколько сотен тысяч бойцов и командиров, огромное количество техники, вооружения, конского поголовья. Разве забудешь, как потерявшая всякое управление масса войск беспорядочно металась на этом пятачке под непрекращающимся обстрелом из всех видов оружия с, казалось, навсегда зависшей над головами вражеской авиации. В общем, безуспешно пытались они вырваться из этого кипящего котла. Несколько дней длилось это беспощадное истребление.

При одном воспоминании от всего пережитого, всего увиденного мертво внутри, сердце бухало неровными болезненными ударами, не хватало воздуха, чтоб дышать. Всю полноту безграничного мужества и самопожертвования видел он на том пяточке, всю полноту человеческой слабости, трусости и предательства тоже видел. Он видел генералов, которые, отчаявшись навести порядок, двигались с примкнутым штыком впереди бойцов в последнюю атаку. Побелевших старших офицеров, приказывающих своим подразделениям сложить оружие и сдаться на милость врагу, он тоже видел. Ему не забыть седого полковника, который, не обращая внимания на вышестоящее начальство, взял ответственность на себя. Он стоял во весь рост, не кланяясь пулям и осколкам, твердо отдавал приказы, которые, несмотря на неразбериху, безукоснительно исполнялись. Вокруг него собралось ядро солдат и офицеров, большинство — из других частей, которое за считанные часы обросло тысячами поверивших в него, подчинившихся его железной воле. Таких военачальников было немало, и именно им удалось с боями вырваться из этого ада и спасти хотя бы часть людей.

Ему не забыть своего командира полка с безумными глазами и грязной пеной в углах кривившегося в крике рта, пытавшегося остановить панически отступавших бойцов. Это были солдаты, всего неделю назад перед наступлением прибывшие на пополнение его батальонов. Еще тогда Хохлов поразился, что это были совершенно необученные, не прошедшие даже недельный курс молодого бойца вчерашние школьники, колхозники, студенты.

— Дядя Григорий, спаси, не бросай... — размазывая по грязным щекам слезы, скулил один из этого пополнения, боец его взвода Свирилин Ваня. Свирино взглянув на него, Григорий неожиданно для себя смягчился. «Даже обращаться к старшему по званию не обучили, назвал, как какого-нибудь бригадира в родном колхозе».

— Ладно, племянничек, рядом держись и винтовку не бросай. Прорвемся, как пить дать прорвемся. Оглядимся вот только.

Он не был новичком на войне, почти год уже воевал, потому и понял, что дела плохи — хуже некуда. Он озирался по сторонам, ища спасения в этом хаосе огня и смерти, и не находил его. Примерно через час они с Ваней наткнулись на седого полковника. Хохлов доложил, что они двое уцелели от своей роты и что он ждет дальнейших указаний. Полковник вперил в него свой взгляд, взгляд глаза в глаза, взгляд оценивающий и внимательный. Чего он рассмотрел в глазах сержанта, осталось загадкой. Главное, он не увидел там безысходности и панического страха.

— Сержант, собрать с десятков бойцов, слить весь бензин, который только найдете, с разбитых машин в эти четыре полуторки, о выполнении доложить.

— Есть, — спокойно ответил Григорий и без излишней торопливости, которая чаще бывает показной, принялся выполнять приказ.

— Сержант, загружай в эти машины бойцов, с оружием и не раненых. Будешь двигаться слева от основной колонны, за безопасность слева не сешь ответственность. Что с того, что имеются офицеры, мы сейчас все подравнялись в званиях и должностях. Кто этого не понял, ему с нами не по пути. Ты лично мною назначен старшим бокового дозора. Выполняй, сержант, через полчаса выступаем.

...Седой полковник все-таки вывел их из котла. Построив до десяти тысяч бойцов и командиров клином, где острием служили два уцелевших танка и броневичок погибшего командарма, две батареи сорокапятков, а по бокам — отряды автоматчиков на автомобилях, Федотов (фамилию полковника Хохлов запомнит на всю жизнь) предпримет прорыв, казалось бы, на самом крепком участке фашистского фронта. Только безумец был способен на это. Федотов безумцем не был. Немцы ожидали возможных прорывов с нашей стороны, но только не здесь, где у них скопилось большое количество войск, техники и штабов различного уровня.

Придя в себя, немцы начали из всех видов оружия с двух сторон в упор, буквально насквозь прошивать рвущиеся к свободе колонны русских. Сгорели танки и броневичок, было разбито большинство машин и орудий, полоса прорыва была устелена телами убитых и раненых. Эту шевелящуюся, стонущую, истекающую кровью полосу немцы дважды засыплют минами, перепашут снарядами, и она смолкнет. Они отведут войска и обустраивают их в менее подходящем месте, лишь бы не находиться рядом с этим открытым ветрам, дождем и солнцу гигантским кладбищем.

Окружение немцев прорвали, а вот советского фронта не нашли. Его попросту не было. Была сухая — несмотря на июнь, голая — степь. Без леса, без кустика, с редкими безлюдными казачьими хуторами. Единственным спасением от, казалось, навечно нависших над колоннами немецких пикировщиков служили овраги.

Федотов доведет их до Оскола и при огневой поддержке советских частей с левого берега организует переправу. Самого же, неоднократно раненого, истекшего кровью, схоронят его на правом берегу в буераке оставшиеся с ним до конца Хохлов и Свирилин.

Сейчас они шли вдвоем безводной степью, держась строго на восход солнца, бесконечно усталые, голодные, пытаясь утолить жажду в редких солончаковых болотцах. Соленая, дурно пахнущая вода не утоляла, а делала ее еще более нетерпимой.

Они держались оврагов, в которых укрывались от хозяйничавших в степи немецких самолетов и мотоциклистов. Григорий коротко бросил взгляд на Ивана, загребавшего усталыми ногами степную пыль, и в который раз подумал, что не зря взял неделю назад этого скулящего, обмеревшего от страха юнца под свою опеку. За время непрерывных обстрелов и бомбежек, атак и контратак, доходивших до рукопашных схваток, Иван почернел лицом, взгляд ушел куда-то вглубь, злость, а порой и отчаяние плескалась в его угольно-черных глазах. Весь он превратился в сжатую пружину, готовый в любой момент взметнуться, схватиться с любым противником, пулей, штыком, зубами отстоять свое право на жизнь.

«Хочет выжить, во что бы то ни стало выжить, — думалось Григорию. — А ты? Сам неужто не хочешь?» Душа, обугленная от всего пережитого, ум, отказывающийся воспринять и осознать весь масштаб разыгравшейся трагедии, не находили ответа.

«А в целом держится неплохо. И в прорыве вел себя прилично, стрелял, пока не кончились патроны, из тяжелой для него винтовки, стрелял осмысленно и даже пытался целиться, положив ее на борт полуторки. И седого полковника не бросил, хотя сил уже не было тащить его вдвоем на плащ-палатке».

Вчера, правда, повел тот себя для Григория неожиданно и до конца непонятно. Немецкие мотоциклисты, окружив овраг, прочесали его пулеметными очередями, затем на ломаном русском предложили сдаться всем уцелевшим. Знать, не одни они с Петьюкой укрылись здесь — из разных концов оврага начали подниматься наши бойцы, карабкаться на крутой песчаный откос, наверху которого гоготали немцы. И тут Григорий почувствовал, что лежавший с ним рядом Свирилин тоже начал подниматься.

— Лежать! Лежать, говорю... — и тяжелой лапицей Григорий придал голову Ивана к земле.

— Чо лежать, чо лежать? Перестреляют всех, кто не вышел, конец тогда, совсем конец.

— Заткнись, не то сам удавлю.

Григорий наблюдал из своего укрытия, как немцы встретили поднявшихся на крутояр красноармейцев, тычками сбили их в кучу и начали что-то громко обсуждать, затем гортанно пролаял что-то старший среди них, и они разом умолкли. Двое сели в мотоцикл с коляской и, развернувшись, равнодушно, как при какой-то обыденной работе дали длинную пулеметную очередь по красноармейцам. Все семеро, надломившись, попадали наземь.

Даже убирать их немцы не стали, так на крутояре и оставили, сели в мотоциклы и укатили в бескрайнюю степь. «Видно, решили, что тащиться с этими пленными до сборного пункта по выжженной степи себе дороже. Да и улов невелик, всего семь русских».

— Смотри, смотри, сучий потрох, смотри — и в следующий раз всегда вспоминай, — твердил он в злобе Ивану, когда они одной лопатой и каской рыли на крутояре могилку тем семерым.

На расстрелянные, видимо, с воздуха три штабные машины они нагнулись на следующий день под вечер. Штабная «эмка» с мертвым генералом-артиллеристом и два грузовика были изрешечены пулями да осколками. Сухой ветер разносил по степи листки штабных документов и сладковато-приторный трупный запах. «Дня три назад, должно, попали под немецкую бомбежку. И ни одного живого или раненого. Может, оставшиеся в живых ушли? Сволочи, коли так». Григорий узнал рядом с водителем одного из грузовиков командира своего полка. Того самого, пытавшегося остановить бегущих в панике бойцов и стрелявшего в них. А в кузове среди ненужного теперь военного хлама и мертвых бойцов лежало зачехленное знамя полка на выструганном, отполированном годями древе.

Иван безропотно принялся долбить для могилы неподатливый каменный суглинок, Григорий вскоре присоединился к нему. На захоронение потратили весь вечер, короткую июньскую ночь и остаток собственных сил. Не восстановили их и съеденная, чудом уцелевшая в кузове банка тушеной каши, и протухшая вода из канистры в «эмке».

Утром, едва забрезжило, Григорий стянул с древка полковое знамя и после неудавшейся попытки втолкнуть его в противогазную сумку начал стягивать гимнастерку, чтобы обмотаться им.

Свирилин смотрел широко распахнутыми, словно вылезшими из глубины орбит угольными глазами на манипуляции Хохлова. Голосом, полным страха и неожиданной решимости, отчаянно зашипел: «Не смей! Не смей брать это!» Хохлов поначалу даже не понял, о чем он. А Иван под-

всплотную, вцепился в алую бархатистую ткань мертвой хваткой.

— Не смей, говорю! Оставь! Ты что, погубить нас решил? Смерть верная, коли к немцам попадем! Да отдай же, наконец! Дурак! Идиот! Все в героев играешь.

Опешивший Григорий даже слово вставить не мог в этот захлебывающийся словами, пронизанный страхом крик. Продолжал крепко держать край полотнища. Свирилин, откуда сила взялась, едва не выдрал его из рук Хохлова.

— Все в героев играешь! А они там, под Барвенковым, все остались, а генералы, комиссары, что нас в это пекло послали, — далеко на востоке, новые сражения разрабатывают. И эти, которых мы только что схоронили, тоже впереди всех драпали, войска бросили, стратеги, мать их... Чего ты мне полковником Федотовым тычешь — таких, как он, единицы, и они, как и мы, всего лишь мясо пушечное. А я не желаю, не желаю дохнуть из-за этого куска материи, не хочу! И тебе не позволю!

— Ах вон ты запел как? Никак к немцам собрался? Шкуру спасать? — Григорий все больше накалялся.

— Никуда я не собрался, а исключать и такой поворот дел не приходится.

— Заткнись, паскуда, покуда я тебя лично не прибил тут! — Он рывком вырвал знамя и толкнул Ивана в грудь. Тот едва не упал.

— А что, Григорий Иванович?! А и вправду, чего церемониться, у тебя в автомате еще с десяток патронов имеется — потрать на друга! Потрать! Вот уж будешь героем настоящим. Ну? Чего ж ты? Давай, тем более у меня в винтовке ни одного патрона, да и были бы — духу не хватило б у меня. Ну не герой я, слышишь! Не герой — и все! Уродился, видать, таким! Я жить, понимаешь, я просто жить хочу.

— Уйди! Уйди от греха подальше, — Григорий медленно опустил ствол автомата. — Сволочь ты последняя! Уйди и на глаза мне не попадайся больше.

— Ну и уйду! — Иван подхватил шинельную скатку, длинную, не по росту винтовку и, набычившись, зашагал куда-то в сторону.

Ошеломленный Григорий присел прямо на землю, внутри клокота-ло. И с этим человеком он воюет уже много дней, таких дней, что годам порой равны. С ним укрывались одной шинелью, делились последним сухарем и, что еще важнее, последней горстью патронов. Как мог он не разглядеть эту червоточину в человеке, которого еще полчаса назад считал своим верным другом. И лишь где-то, в самом дальнем уголке сознания, едва-едва шелохнулась мысль: «А ить силы человечьи тож не без пределу! И гранит-камень, бывает, пополам трескается. А тут война такая!» Шелохнулась мысль и примолкла, уступив место негодованию, раздражению и неприязни.

Он шел уже третьи сутки. Медленно брел, загибая порвавшимися сапогами горькую пыль. Порою, впадая в забытье, он валился в эту горячую пыльную землю, а очнувшись, тяжело поднимался, чтобы сделать еще сотню-другую шагов. Входя на очередную возвышенность, он оглядывался кругом, но ни малейшего признака жизни, ни одной живой души не находили его глаза. Душу сковывал страх именно от этого безлюдья. Казалось, что попал в какую-то далекую неведомую землю, где нет вой-

ны, нет людей, вообще ничего нет. Есть только он, эта полынная степь без конца и края и безжалостное солнце. Даже немецким мотоциклистам или самолетам он, казалось, обрадовался бы сейчас больше, чем этому безлюдью и безмолвию.

Одновременно Григорий затылком чувствовал, что он не один. Однажды, поднявшись на очередной увал, даже увидел его, устало бредущего далеко сзади. Если для Хохлова ориентиром служило встающее поутру на востоке солнце, то для Свиireлина, видимо, — фигурка Григория в паре километров впереди. Попытался выругаться матерно, вновь озлиться в душе, но даже на это не хватало сил, и Григорий в очередной раз заставил себя подняться и двинуться вперед.

В широкий противотанковый ров он угодит уже поздним вечером. Было это так неожиданно, будто земля разверзлась перед ним — и он летит в черную бездну. Свалившись на дно рва, вновь впал в беспамятство. Лежал долго, раскинув руки и прижимаясь щекой к песчаному, прохладному в ночи песку. Порой сознание возвращалось к нему, но он не верил, что оно вернулось, как не верил и невнятным голосам и другим звукам где-то в десятках метров от себя.

Он очнулся от резких автоматных очередей, инстинкт солдата толкнул его, и он судорожно повел руками вокруг, отыскивая оружие. Автомата рядом не оказалось. Солнце поднялось уже высоко, и, приподнявшись, он увидел, что ров стал прибежищем не только для него. Слева и справа, кучками и в одиночку, лежа и сидя располагались запыленные, почерневшие бойцы.

А по гребню рва шли офицер в перетянутой ремнями гимнастерке и три красноармейца-автоматчика.

— Кто такие? Какой части? Где оружие? По паникерам и дезертирам — огонь!

Звучала короткая очередь, и прислонившиеся к стенке рва солдаты в расхристанных гимнастерках сползали безжизненно вниз.

— Кто такой? Почему здесь? Трус! Твоя часть дерется там, — и указ рукой на запад. — Огонь!

— Что ты мямлишь, где винтовка твоя? Фронт стоит в десяти километрах на запад. Стоит, несмотря на то что ты дезертировал! Огонь!

«Какой фронт? О чем он говорит? Не было там никакого фронта. Не перепрыгнул же я через него», — лихорадочно билась мысль у Григория. А группа по брустверу неуклонно приближалась в его сторону. Поднявшиеся солдаты, среди которых были младшие командиры, оцепенело смотрели на происходящее. Никто не шелохнулся, не предпринял малейшей попытки бежать, спастись. Просто стояли и безропотно ждали, когда подойдет их очередь.

— Так, с оружием? Кто старший? — вновь гортанный голос офицера. — Живо наверх! Марш строиться, с вами отдельный разговор.

— Так, а ты, толстяк, где оружие, документы выбросил?
Со знаменем под гимнастеркой Григорий, видимо, действительно выглядел толстым.

Хохлов, наконец, увидел свой автомат: тот лежал на противоположном откосе — видимо, обронил при ночном падении. До него было далеко, да и поздно что-то объяснять. Он судорожно рванул ворот гимнастерки и ремень. Стал стягивать ее через голову. Вокруг тела было обмотано знамя. Нет, оно не алело и не выделялось красным пятном. Оно было черным от пота и пыли, от крови, периодически сочившейся из касательной

раны в бок, которую получил еще при прорыве из котла. Но это было знамя, и не узнать его было невозможно.

— Сержант, быстро наверх, какой части?

— Помкомвзвода третьего батальона 429 стрелкового... сержант Хохлов... Знамя это... полка нашего...

— Этот боец с вами?

Тут только Григорий увидел в пяти шагах пытавшегося подняться на ноги Ивана Свирелина. Если бы увидел в его угольно-черных глазах страх и мольбу о пощаде, Григорий, наверное, не «признал» бы его. В глазах он увидел несвойственную Свирелину горделивую обреченность, готовность принять как должное то, что через мгновение станет последней безжалостной точкой в его короткой жизни. Может, поэтому Григорий неожиданно для самого себя произнесет:

— Со мной, соседней роты боец... — И двинулся наверх, но не к офицеру, а к своему автомату на скате противотанкового рва.

